Литрес ≡ Классика

Александр Куприн

ЯМА



Александр Куприн

Яма

«ЛитРес»

1909-1915

Куприн А. И.

Яма / А. И. Куприн — «ЛитРес», 1909-1915

ISBN 5-04-001226-8

Повесть «Яма» А.И.Куприн начал писать в 1909 году и завершил работу через шесть лет. Книга о жизни проституток вызвала скорее осуждение, чем сочувствие или понимание. Автора обвиняли в безнравственности и чрезмерном натурализме. Один из героев «Ямы» говорит: «…Наши художники слова – самые совестливые и самые искренние во всем мире художники – почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, мне трудно ответить на это. <…> Может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга». Куприн сумел создать книгу, действительно потрясающую своей правдивостью, и посвятил ее матерям и юношеству.

ISBN 5-04-001226-8

© Куприн А. И., 1909-1915
© ЛитРес, 1909-1915

Содержание

Часть первая 5
I 5
II 7
III 11
IV 16
V 19
VI 24
VII 29
VIII 32
IX 38
X 47
XI 51
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Александр Иванович Куприн
Яма

Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству.
А. К.

Часть первая

I

Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города жили из рода в род ямщики – казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называлась Ямской слободой, или просто Ямской, Ямками, или, еще короче, Ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, лихое ямщичье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за Ямой на много лет – даже до сего времени – осталась темная слава, как о месте развеселом, пьяном, драчливом и в ночную пору небезопасном.

Как-то само собою случилось, что на развалинах тех старинных, насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатки и чернобровые сдобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам. К концу XIX столетия обе улицы Ямы – Большая Ямская и Малая Ямская – оказались занятыми сплошь, и по ту и по другую сторону, исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не больше пяти-шести, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надобности ямской проституции.

Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех тридцати с лишком заведениях, разница только в плате, взимаемой за кратковременную любовь, а следовательно, и в некоторых внешних мелочах: в подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки.

Самое шикарное заведение – Треппеля, при въезде на Большую Ямскую, первый дом налево. Это старая фирма. Теперешний владелец ее носит совсем другую фамилию и состоит гласным городской думы и даже членом управы. Дом двухэтажный, зеленый с белым, выстроен в ложнорусском, ёрническом, ропетовском стиле, с коньками, резными наличниками, петухами и деревянными полотенцами, окаймленными деревянными же кружевами; ковер с белой дорожкой на лестнице; в передней чучело медведя, держащее в протянутых лапах деревянное блюдо для визитных карточек; в танцевальном зале паркет, на окнах малиновые шелковые тяжелые занавеси и тюль, вдоль стен белые с золотом стулья и зеркала в золоченых рамах; есть два кабинета с коврами, диванами и мягкими атласными пуфами; в спальнях голубые и розовые фонари, канаусовые одеяла и чистые подушки; обитательницы одеты в открытые бальные платья, опушенные мехом, или в дорогие маскарадные костюмы гусаров, пажей, рыбачек, гимназисток, и большинство из них – остзейские немки, – крупные, белотелые, грудастые красивые женщины. У Треппеля берут за визит три рубля, а за всю ночь – десять.

Три двухрублевых заведения – Софьи Васильевны, «Старо-Киевский» и Анны Марковны – несколько поплоше, победнее. Остальные дома по Большой Ямской – рублевые; они еще хуже

обставлены. А на Малой Ямской, которую посещают солдаты, мелкие воришки, ремесленники и вообще народ серый и где берут за время пятьдесят копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно: пол в зале кривой, облупленный и занозистый, окна завешены красными кумачовыми кусками; спальни, точно стойла, разделены тонкими перегородками, не достающими до потолка, а на кроватях, сверх сбитых сенников, валяются скомканные кое-как, рваные, темные от времени, пятнистые простыни и дырявые байковые одеяла; воздух кислый и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха человеческих извержений; женщины, одетые в цветное ситцевое тряпье или в матросские костюмы, по большей части хриплы или гнусавы, с полупровалившимися носами, с лицами, хранящими следы вчерашних побоев и царапин и наивно раскрашенными при помощи послюненной красной коробочки от папирос.

Круглый год, всякий вечер, – за исключением трех последних дней страстной недели и кануна благовещения, когда птица гнезда не вьет и стриженая девка косы не заплетает, – едва только на дворе стемнеет, зажигаются перед каждым домом, над шатровыми резными подъездами, висячие красные фонари. На улице точно праздник пасха:, все окна ярко освещены, веселая музыка скрипок и роялей доносится сквозь стекла, беспрерывно подъезжают и уезжают извозчики. Во всех домах входные двери открыты настежь, и сквозь них видны с улицы: крутая лестница, и узкий коридор вверху, и белое сверканье многогранного рефлектора лампы, и зеленые стены сеней, расписанные швейцарскими пейзажами. До самого утра сотни и тысячи мужчин подымаются и спускаются по этим лестницам. Здесь бывают все: полуразрушенные, слюнявые старцы, ищущие искусственных возбуждений, и мальчики – кадеты и гимназисты – почти дети; бородатые отцы семейств, почтенные столпы общества в золотых очках, и молодожены, и влюбленные женихи, и почтенные профессоры с громкими именами, и воры, и убийцы, и либеральные адвокаты, и строгие блюстители нравственности – педагоги, и передовые писатели – авторы горячих, страстных статей о женском равноправии, и сыщики, и шпионы, и беглые каторжники, и офицеры, и студенты, и социал-демократы, и анархисты, и наемные патриоты; застенчивые и наглые, больные и здоровые, познающие впервые женщину, и старые развратники, истрепанные всеми видами порока; Ясноглазые красавцы и уроды, злобно исковерканные природой, глухонемые, слепые, безносые, с дряблыми, отвислыми телами, с зловонным дыханием, плешивые, трясущиеся, покрытые паразитами – брюхатые, геморроидальные обезьяны. Приходят свободно и просто, как в ресторан или на вокзал, сидят, курят, пьют, судорожно притворяются веселыми, танцуют, выделывая гнусные телодвижения, имитирующие акт половой любви. Иногда внимательно и долго, иногда с грубой поспешностью выбирают любую женщину и знают наперед, что никогда не встретят отказа. Нетерпеливо платят вперед деньги и на публичной кровати, еще не остывшей от тела предшественника, совершают бесцельно самое великое и прекрасное из мировых таинств – таинство зарождения новой жизни, И женщины с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями удовлетворяют, как машины, их желаниям, чтобы тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами принять третьего, четвертого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале.

Так проходит вся ночь. К рассвету Яма понемногу затихает, и светлое утро застает ее безлюдной, просторной, погруженной в сон, с накрепко закрытыми дверями, с глухими ставнями на окнах. А перед вечером женщины проснутся и будут готовиться к следующей ночи.

И так без конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих публичных гаремах странной, неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятые семьей, жертвы общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладострастия, оберегательницы семейной чести четыреста глупых, ленивых, истеричных, бесплодных женщин.

II

Два часа дня. Во второстепенном, двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамах, с двумя десятками плюшевых стульев, чинно расставленных– вдоль стен, с олеографическими картинами Маковского «Боярский пир» и «Купанье», с хрустальной люстрой посредине – тоже спит и в тишине и полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно-печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звенела разудалая музыка, колебался синий табачный, дым, носились, вихляя бедрами и высоко вскидывая ногами вверх, пары мужчин и женщин. И вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон и кипела до утра людьми и экипажами.

Теперь улица пуста. Она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гардины, и оттого в ней темно, прохладно и так особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда.

Тускло поблескивает фортепиано своим черным, изогнутым, глянцевитым боком, слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые, щербатые клавиши. Застоявшийся, неподвижный воздух еще хранит вчерашний запах; пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом нездорового и нечистого женского тела, пудрой, борно-тимоловым мылом и пылью от желтой мастики, которой был вчера натерт паркет. И со странным очарованием примешивается к этим запахам запах увядающей болотной травы. Сегодня троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами, толстую траву повсюду: в коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажили лампады перед всеми образами. Девицы, по традиции, не смеют этого делать своими осквернеными за ночь руками.

А дворник украсил резной, в русском стиле, подъезд двумя срубленными березками. Так же и во всех домах около крылец, перил и дверей красуются снаружи белые тонкие стволики с жидкой умирающей зеленью.

Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухне рубят к обеду котлеты. Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только шесть временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она прекрасно, сладко выспалась одна, совсем одна, на широкой постели. Она рано встала, в десять часов, и с удовольствием помогла кухарке вымыть в кухне пол и столы. Теперь она кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий пес с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку передними лапами, туго натягивая цепь и храпя от удушья, то, весь волнуясь спиной и хвостом, пригибает голову к земле, морщит нос, улыбается, скулит и чихает от возбуждения. А она, дразня его мясом, кричит на него с притворной строгостью:

– Ну, ты, болван! Я т-тебе дам! Как смеешь?

Но она от души рада волнению и ласке Амура, и своей минутной власти над собакой, и тому, что выспалась и провела ночь без мужчины, и троице, по смутным воспоминаниям детства, и сверкающему солнечному дню, который ей так редко приходится видеть.

Все ночные гости уже разъехались. Наступает самый деловой, тихий, будничный час.

В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом, – Анна Марковна. Ей лет под шестьдесят. Она очень мала ростом, но круглотолста: ее можно себе представить, вообразив снизу вверх три мягких студенистых шара – большой, средний и маленький, втиснутых друг в друга без промежутков; это – ее юбка, торс и голова. Странно: глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно, мокрой нижней малиновой губой. Ее муж – Исай Саввич – тоже малень-

кий, седенький, тихонький, молчаливый старичок. Он у жены под башмаком; был швейцаром в этом же. доме еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой. Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для загулявших приказчиков, жаждущих пьяных слез.

Затем две экономки – старшая и младшая. Старшая Эмма Эдуардовна. Она – высокая, полная шатенка, лет сорока шести, с жирным зобом из трех подбородков. Глаза у нее окружены черными геморроидальными кругами. Лицо расширяется грушей, от лба вниз, к щекам, и землистого цвета; глаза маленькие, черные; горбатый нос, строго подобранные губы; выражение лица спокойно-властное. Ни для кого в доме не тайна, что через год, через два Анна Марковна, удалясь на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть – в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтут ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет, бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которую она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем побои.

Другую – зовут Зося. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девицы покамест еще называют ее безлично, льстиво и фамильярно «экономочкой». Она худощава, вертлява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической барашком; обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подобострастием.

Наконец пятое лицо – местный околоточный надзиратель Кербеш. Это атлетический человек; он лысоват, у него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил по сыскной части и был грозою жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах.

У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что два года тому назад он женился на богатой семидесятилетней старухе, а в прошлом году задушил ее; однако ему как-то удалось замять это дело. Да и остальные четверо тоже видели кое-что в своей пестрой жизни. Но, подобно тому как старинные бретеры не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темное и кровавое в своем прошлом, как на неизбежные маленькие неприятности профессий.

Пьют кофе с жирными топлеными сливками, околоточный – с бенедиктином. Но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение.

– Так как же, Фома Фомич? – спрашивает искательно хозяйка. – Это же дело выеденного яйца не стоит… Ведь вам только слово сказать…

Кербеш медленно втягивает в себя полрюмки ликера, слегка разминает языком по нёбу маслянистую, острую, крепкую жидкость, проглатывает ее, запивает не торопясь кофеем и потом проводит безымянным пальцем левой руки по усам вправо и влево.

– Подумайте сами, мадам Шойбес, – говорит он, глядя на стол, разводя руками и щурясь, – подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь! Девушка была обманным образом вовлечена в это… в как его… ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию. Хорошо-с. Она попадает из одного места в другое, из пятого в десятое… Наконец след находится у вас, и главное, – подумайте! – в моем околотке! Что я могу поделать?

– Господин Кербеш, но ведь она же совершеннолетняя, – говорит хозяйка.

– Оне совершеннолетние, – подтверждает Исай Саввич. – Оне дали расписку, что по доброй воле…

Эмма Эдуардовна произносит басом, с холодной уверенностью:

– Ей-богу, она здесь как за родную дочь.

– Да ведь я не об этом говорю, – досадливо морщится околоточный. – Вы вникните в мое положение… Ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься!

Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околоточному ленивым, невыразительным блекло-голубым глазом:

– Господин Кербеш, я попрошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение.

– А-а! С удовольствием…

Через десять минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербеша хрустит в кармане новенькой сторублевой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. Околоточный, поспешно допивая бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов:

– Вот у меня сын гимназист – Павел. Приходит, подлец, и заявляет: «Папа, меня ученики ругают, что ты полицейский, и что служишь на Ямской, и что берешь взятки с публичных домов». Ну, скажите, ради бога, мадам Шойбес, это же не нахальство?

– Ай-ай-ай!.. И какие тут взятки?.. Вот и у меня тоже…

– Я ему говорю: «Иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края». Что же вы думаете? Приходит и поверит: «Я тебе больше не сын, – ищи себе другого сына». Аргумент! Ну, и всыпал же я ему по первое число! Ого-го! Теперь со мной разговаривать не хочет. Ну, я ему еще покажу!

– Ах, и не рассказывайте, – вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю малиновую губу и затуманив свои блеклые глаза. – Мы нашу Берточку, – она в гимназии Флейшера, – мы нарочно держим ее в городе, в почтенном семействе. Вы понимаете, все-таки неловко. И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела.

– Ей-богу, Анночка вся покраснела, – подтверждает Исай Саввич.

– Покраснеешь! – горячо соглашается околоточный. Да, да, да, я вас понимаю. Но, боже мой, куда мы идем! Куда мы только идем? Я вас спрашиваю, чего хотят добиться эти революционеры и разные там студенты, или… как их там? И пусть пеняют на самих себя. Повсеместно разврат, нравственность падает, нет уважения к родителям, Расстреливать их надо.

– А вот у нас был третьего дня случай, – вмешивается суетливо Зося. – Пришел один гость, толстый человек…

– Не канцай, – строго обрывает ее на жаргоне публичных домов Эмма Эдуардовна, которая слушала околоточного, набожно кивая склоненной набок головой. – Вы бы лучше пошли распорядились завтраком для барышень.

– И ни на одного человека нельзя положиться, – продолжает ворчливо хозяйка. – Что ни прислуга, то стерва, обманщица. А девицы только и думают, что о своих любовниках. Чтобы только им свое удовольствие иметь. А о своих обязанностях и не думают.

Неловкое молчание. В дверь стучат. Тонкий женский голос говорит по ту сторону дверей:

– Экономочка! Примите деньги и пожалуйте мне марочки. Петя ушел.

Околоточный встает и оправляет шашку.

– Однако пора и на службу. Всего лучшего, Анна Марковна. Всего хорошего, Исай Саввич.

– Может, еще рюмочку, на дорожку? – тычется над столом подслеповатый Исай Саввич.

– Благодарю-с. Не могу. Укомплектован. Имею честь!..

– Спасибо вам за компанию. Заходите.

– Ваши гости-с. До свиданья.

Но в дверях он останавливается на минуту и говорит многозначительно:

– А все-таки мой совет вам: вы эту девицу лучше сплавьте куда-нибудь заблаговременно. Конечно, ваше дело, но как хороший знакомый – предупреждаю-с.

Он уходит. Когда его шаги затихают на лестнице и хлопает за ним парадная дверь, Эмма Эдуардовна фыркает носом и говорит презрительно:

– Фараон! Хочет и здесь и там взять деньги…

Понемногу все расползаются из комнаты. В доме темно. Сладко пахнет полуувядшей осокой. Тишина.

III

До обеда, который подается в шесть часов вечера, время тянется бесконечно долго и нестерпимо однообразно. Да и вообще этот дневной промежуток – самый тяжелый и самый пустой в жизни дома. Он отдаленно похож по настроению на те вялые, пустые часы, которые переживаются в большие праздники п институтах и в других закрытых женских заведениях, когда подруги разъехались, когда много свободы и много безделья и целый день царит светлая, сладкая скука. В одних нижних юбках и в белых сорочках, с голыми руками, иногда босиком, женщины бесцельно слоняются из комнаты в комнату, все немытые, непричесанные, лениво тычут указательным пальцем в клавиши старого фортепиано, лениво раскладывают гаданье на картах, лениво перебраниваются и с томительным раздражением ожидают вечера.

Любка после завтрака снесла Амуру остатки хлеба и обрезки ветчины, но собака скоро надоела ей. Вместе с Нюрой она купила барбарисовых конфет и подсолнухов, и обе стоят теперь за забором, отделяющим дом от улицы, грызут семечки, скорлупа от которых остается у них на подбородках и на груди, и равнодушно судачат обо всех, кто проходит по улице: о фонарщике, наливающем керосин в уличные фонари, о городовом с разносной книгой под мышкой, об экономке из чужого заведения, перебегающей через дорогу в мелочную лавочку…

Нюра – маленькая, лупоглазая, синеглазая девушка; у нее белые, льняные волосы, синие жилки на висках. В лице у нее есть что-то тупое и невинное, напоминающее белого пасхального сахарного ягненочка. Она жива, суетлива, любопытна, во все лезет, со всеми согласна, первая знает все новости, и если говорит, то говорит так много и так быстро, что у нее летят брызги изо рта и на красных губах вскипают пузыри, как у детей.

Напротив, из пивной, на минуту выскакивает курчавый, испитой, бельмистый парень, услужающий, и бежит в соседний трактир.

– Прохор Иванович, а Прохор Иванович, – кричит Нюра, – не хотите ли, подсолнухами угощу?

– Заходите к нам в гости, – подхватывает Люба.

Нюра фыркает и добавляет сквозь давящий ее смех:

– На теплые ноги!

Но парадная дверь открывается, в ней показывается грозная и строгая фигура старшей экономки.

– Пфуй! Что это за безобразие? – кричит она начальственно. – Сколько раз вам повторять, что нельзя выскакивать на улицу днем и еще – пфуй! ч– в одном белье. Не понимаю, как это у вас нет никакой совести. Порядочные девушки, которые сами себя уважают, не должны вести себя так публично. Кажутся, слава богу, вы не в солдатском заведении, а в порядочном доме. Не на Малой Ямской.

Девицы возвращаются в дом, забираются на кухню и долго сидят там на табуретах, созерцая сердитую кухарку Прасковью, болтая ногами и молча грызя семечки.

В комнате у Маленькой Маньки, которую еще называют Манькой Скандалисткой и Манькой Беленькой, собралось целое общество. Сидя на краю кровати, она и другая девица, Зоя, высокая, красивая девушка, с круглыми бровями, с серыми глазами навыкате, с самым типичным белым, добрым лицом русской проститутки, играют в карты, в «шестьдесят шесть». Ближайшая подруга Маньки Маленькой, Женя, лежит за их спинами на кровати навзничь, читает растрепанную книжку «Ожерелье королевы», сочинение и. Дюма, и курит. Во всем заведении она единственная любительница чтения и читает запоем и без разбора. Но, против ожидания, усиленное чтение романов с приключениями вовсе не сделало ее сентиментальной и не раскислило ее воображения. Более всего ей нравится в романах длинная, хитро задуманная и ловко распутанная интрига, великолепные поединки, перед которыми виконт развязывает

банты у своих башмаков в знак того, что он не намерен отступить ни на шаг от своей позиции, и после которых маркиз, проткнувши насквозь графа, извиняется, что сделал отверстие в его прекрасном новом камзоле; кошельки, наполненные золотом, небрежно разбрасываемые налево и направо главными героями, любовные приключения и остроты Генриха IV, – словом, весь этот пряный, в золоте и кружевах, героизм прошедших столетий французской истории. В обыденной жизни она, наоборот, трезва умом, насмешлива, практична и цинично зла. По отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе-тиранствующей и обожаемой. Она – высокая, худая брюнетка, с прекрасными карими, горящими глазами, маленьким гордым ртом, усиками на верхней губе и со смуглым нездоровым румянцем на щеках.

Не выпуская изо рта папироски и щурясь от дыма, она то и дело переворачивает страницы намусленным пальцем. Ноги у нее до колен голые, огромные ступни самой вульгарной формы: ниже больших пальцев резко выдаются внаружу острые, некрасивые, неправильные желваки.

Здесь же, положив ногу на ногу, немного согнувшись с шитьем в руках, сидит Тамара, тихая, уютная, хорошенькая девушка, слегка рыжеватая, с тем темным и блестящим оттенком волос, который бывает у лисы зимою на хребте. Настоящее ее имя Гликерия, или Лукерия по-простонародному. Но уже давнишний обычай домов терпимости – заменять грубые имена Матрен, Агафий, Сиклитиний звучными, преимущественно экзотическими именами. Тамара когда-то была монахиней или, может быть, только послушницей в монастыре, и до сих пор в лице ее сохранилась бледная опухлость и пугливость, скромное и лукавое выражение, которое свойственно молодым монахиням. Она держится в доме особняком, ни с кем не дружит, никого не посвящает в свою прошлую жизнь. Но, должно быть, у нее, кроме монашества, было еще много приключений: что-то таинственное, молчаливое и преступное есть в ее неторопливом разговоре, в уклончивом взгляде ее густо– и темнозолотых глаз из-под длинных опущенных ресниц, в ее манерах, усмешках и интонациях скромной, но развратной святоши. Однажды вышел такой случай, что девицы чуть не с благоговейным ужасом услыхали, что Тамара умеет бегло говорить по-французски и по-немецки. В ней есть какая-то внутренняя сдержанная сила. Несмотря на ее внешнюю кротость и сговорчивость, все в заведении относятся к ней с почтением и осторожностью: и хозяйка, и подруги, и обе экономки, и даже швейцар, этот истинный султан дома терпимости, всеобщая гроза и герой.

– Прикрыла, – говорит Зоя и поворачивает козырь, лежавший под колодой, рубашкой кверху. – Выхожу с сорока, хожу с туза пик, пожалуйте, Манечка, десяточку. Кончила. Пятьдесят семь, одиннадцать, шестьдесят восемь. Сколько у тебя?

– Тридцать, – говорит Манька обиженным голосом, надувая губы, – ну да, тебе хорошо, ты все ходы помнишь. Сдавай… Ну, так что же дальше, Тамарочка? – обращается она к подруге. – Ты говори, я слушаю.

Зоя стасовывает старые, черные, замаслившиеся карты и дает Мане снять, потом сдает, поплевав предварительно на пальцы.

Тамара в это время рассказывает Мане тихим голосом, не отрываясь от шитья.

– Вышивали мы гладью, золотом, напрестольники, воздухи, архиерейские облачения… травками, цветами, крестиками. Зимой сидишь, бывало, у окна, – окошки маленькие, с решетками, – свету немного, маслицем пахнет, ладаном, кипарисом, разговаривать нельзя было: матушка была строгая. Кто-нибудь от скуки затянет великопостный ирмос… «Вонми небо и возглаголю и воспою…» Хорошо пели, прекрасно, и такая тихая жизнь, и запах такой прекрасный, снежок за окном, ну вот точно во сне…

Женя опускает истрепанный роман себе на живот, бросает папиросу через Зоину голову и говорит насмешливо:

– Знаем мы вашу тихую жизнь. Младенцев в нужники выбрасывали. Лукавый-то все около ваших святых мест бродит.

– Сорок объявляю. Сорок шесть у меня было! Кончила! – возбужденно восклицает Манька Маленькая и плещет ладонями. – Открываю три.

Тамара, улыбаясь на слова Жени, отвечает с едва заметной улыбкой, которая почти не растягивает губы, а делает их в концах маленькие, лукавые, двусмысленные углубления, совсем как у Монны Лизы на портрете Леонардо да Винчи.

– Плетут много про монахинь-то мирские… Что же, если и бывал грех…

– Не согрешишь – не покаешься, – вставляет серьезно Зоя и мочит палец во рту.

– Сидишь, вышиваешь, золото в глазах рябит, а от утреннего стояния так вот спину и ломит, и ноги ломит. А вечером опять служба. Постучишься к матушке в келию: «Молитвами святых отец наших господи помилуй нас». А матушка из келий так баском ответит: «Аминь».

Женя смотрит на нее несколько времени пристально, покачивает головой и говорит многозначительно:

– Странная ты девушка, Тамара. Вот гляжу я на тебя и удивляюсь. Ну, я понимаю, что эти дуры, вроде Соньки, любовь крутят. На то они и дуры. А ведь ты, кажется, во всех золах печена, во всех щелоках стирана, а тоже позволяешь себе этакие глупости. Зачем ты эту рубашку вышиваешь?

Тамара не торопясь перекалывает поудобнее ткань на своем колене булавкой, заглаживает наперстком шов и говорит, не поднимая сощуренных глаз, чуть склонив голову набок:

– Надо что-нибудь делать. Скучно так. В карты я не играю и не люблю.

Женя продолжает качать головой.

– Нет, странная ты девушка, право, странная. От гостей ты всегда имеешь больше, чем мы все. Дура, чем копить деньги, на что ты их тратишь? Духи покупаешь по семи рублей за склянку. Кому это нужно? Вот теперь набрала на пятнадцать рублей шелку. Это ведь ты Сеньке своему?

– Конечно, Сенечке.

– Тоже нашла сокровище. Вор несчастный. Приедет в заведение, точно полководец какой. Как еще он не бьет тебя. Воры, они это любят. И обирает небось?

– Больше чем я захочу, я не дам, – кротко отвечает Тамара и перекусывает нитку.

– Вот этому-то я удивляюсь. С твоим умом, с твоей красотой я бы себе такого гостя захороводила, что на содержание бы взял. И лошади свои были бы и брильянты.

– Что кому нравится, Женечка. Вот и ты тоже хорошенькая и милая девушка, и характер у тебя такой независимый и смелый, а вот застряли мы с тобой у Анны Марковны.

Женя вспыхивает и отвечает с непритворной горечью:

– Да! Еще бы! Тебе везет!.. У тебя все самые лучшие гости. Ты с ними делаешь, что хочешь, а у меня всё – либо старики, либо грудные младенцы. Не везет мне. Одни сопливые, другие желторотые. Вот больше всего я мальчишек не люблю. Придет, гаденыш, трусит, торопится, дрожит, а сделал свое дело, не знает, куда глаза девать от стыда. Корчит его от омерзения. Так и дала бы по морде. Прежде чем рубль дать, он его в кармане в кулаке держит, горячий весь рубль-то, даже потный. Молокосос! Ему мать на французскую булку с колбасой дает гривенник, а он на девку сэкономил. Был у меня на днях один кадетик. Так я нарочно, назло ему говорю: «На тебе, миленький, на тебе карамелек на дорогу, пойдешь обратно в корпус – пососешь». Так он сперва обиделся, а потом взял. Я потом нарочно подглядела с крыльца: как вышел, оглянулся, и сейчас карамельку в рот. Поросенок!

– Ну, со стариками еще хуже, – говорит нежным голосом Манька Маленькая и лукаво заглядывает на Зою, – как ты думаешь, Зоинька?

Зоя, которая уже кончила играть и только что хотела зевнуть, теперь никак не может раззеваться. Ей хочется не то сердиться, не то смеяться. У ней есть постоянный гость, какой-то

высокопоставленный старичок с извращенными эротическими привычками. Над его визитами к ней потешается все заведение.

Зое удается, наконец, раззеваться.

– Ну вас к чертовой матери, – говорит она сиплым, после зевка, голосом, – будь он проклят, старая анафема!

– А все-таки хуже всех, – продолжает рассуждать Женя, – хуже твоего директора, Зоинька, хуже моего кадета, хуже всех – ваши любовники. Ну что тут радостного: придет пьяный, ломается, издевается, что-то такое хочет из себя изобразить, но только ничего у него не выходит. Скажите, пожалуйста: маль-чи-шеч-ка. Хам хамом, грязный, избитый, вонючий, все тело в шрамах, только одна ему хвала: шелковая рубашка, которую ему Тамарка вышьет. Ругается, сукин сын, по-матерному, драться лезет. Тьфу! Нет, – вдруг воскликнула она веселым задорным голосом,кого люблю верно и нелицемерно, во веки веков, так это мою Манечку, Маньку Беленькую, Маньку Маленькую, мою Маньку Скандалисточку. И неожиданно, обняв за плечи и грудь Маню, она притянула ее к себе, повалила на кровать и стала долго и сильно целовать ее волосы, глаза, губы. Манька с трудом вырвалась от нее с растрепанными светлыми, тонкими, пушистыми волосами, вся розовая от сопротивления и с опущенными влажными от стыда и смеха глазами.

– Оставь, Женечка, оставь. Ну что ты, право… Пусти!

Маня Маленькая – самая кроткая и тихая девушка во всем заведении. Она добра, уступчива, никогда не может никому отказать в просьбе, и невольно все относятся к ней с большой нежностью. Она краснеет по всякому пустяку и в это время становится особенно привлекательна, как умеют быть привлекательны очень нежные блондинки с чувствительной кожей. Но достаточно ей выпить три-четыре рюмки ликера-бенедиктина, который она очень любит, как она становится неузнаваемой и выделывает такие скандалы, что всегда требуется вмешательство экономок, швейцара, иногда даже полиции. Ей ничего не стоит ударить гостя по лицу или бросить ему в глаза стакан, наполненный вином, опрокинуть лампу, обругать хозяйку. Женя относится к ней с каким-то странным, нежным покровительством и грубым обожанием.

– Барышни, обедать! Обедать, барышни! – кричит, пробегая вдоль коридора, экономка Зося. На бегу она открывает дверь в Манину комнату и кидает торопливо:

– Обедать, обедать, барышни!

Идут опять на кухню, все также в нижнем белье, все немывшиеся, в туфлях и босиком. Подают вкусный борщ со свиной кожицей и с помидорами, котлеты и пирожное: трубочки со сливочным кремом. Но ни у кого нет аппетита благодаря сидячей жизни и неправильному сну, а также потому, что большинство девиц, как институтки в праздник, уже успели днем послать в лавочку за халвой, орехами. рахат-лукумом, солеными огурцами и тянучками и этим испортили себе аппетит. Одна только Нина, маленькая, курносая, гнусавая деревенская девушка, всего лишь два месяца назад обольщенная каким-то коммивояжером и им же проданная в публичный дом, ест за четверых. У нее все еще не пропал чрезмерный, запасливый аппетит простолюдинки.

Женя, которая лишь брезгливо поковыряла котлетку и съела половину трубочки, говорит ей тоном лицемерного участия:

– Ты бы, Феклуша, скушала бы и мою котлетку. Кушай, милая, кушай, не стесняйся, тебе надо поправляться. А знаете, барышни, что я вам скажу, – обращается она к подругам, – ведь у нашей Феклуши солитер, а когда у человека солитер, то он всегда ест за двоих: половину за себя, половину за глисту.

Нина сердито сопит и отвечает неожиданным для ее роста басом и в нос:

– Никаких у меня нет глистов. Это у вас есть глисты, оттого вы такая худая.

И она невозмутимо продолжает есть и после обеда чувствует себя сонной, как удав, громко рыгает, пьет воду, икает и украдкой, если никто не видит, крестит себе рот по старой привычке.

Но вот уже в коридорах и комнатах слышится звонкий голос Зоси:

– Одеваться, барышни, одеваться. Нечего рассиживаться… На работу…

Через несколько минут во всех комнатах заведения пахнет паленым волосом, борно-тимоловым мылом, дешевым одеколоном. Девицы одеваются к вечеру.

IV

Настали поздние сумерки, а за ними теплая темная ночь, но еще долго, до самой полуночи, тлела густая малиновая заря. Швейцар, заведения Симеон зажег все лампы по стенам залы и люстру, а также красный фонарь над крыльцом. Симеон был сухопарый, сутуловатый, молчаливый и суровый человек, с прямыми широкими плечами, брюнет, шадровитый, с вылезшими от оспы плешинками бровями и усами и с черными, матовыми, наглыми глазами. Днем он бывал свободен и спал, а ночью сидел безотлучно в передней под рефлектором, чтобы раздевать и одевать гостей и быть готовым на случай всякого беспорядка.

Пришел тапер – высокий, белобрысый деликатный молодой человек с бельмом на правом глазу. Пока не было гостей, он с Исай Саввичем потихоньку разучивали «pas d'Espagne»[1] – танец, начинавший входить в то время в моду. За каждый танец, заказанный гостями, они получали тридцать копеек за легкий танец и по полтиннику за кадриль. Но одну половину из этой цены брала себе хозяйка, Анна Марковна, другую же музыканты делили поровну. Таким образом тапер получал только четверть из общего заработка, что, конечно, было несправедливо, потому что Исай Саввич играл самоучкой и отличался деревянным слухом. Таперу приходилось постоянно его натаскивать на новые мотивы, поправлять и заглушать его ошибки громкими аккордами. Девицы с некоторой гордостью рассказывали гостям о тапере, что он был в консерватории и шел все время первым учеником, но так как он еврей и к тому же заболел глазами, то ему не удалось окончить курса. Все они относились к нему очень бережно и внимательно, с какой-то участливой, немножко приторной жалостливостью, что весьма вяжется с внутренними закулисными нравами домов терпимости, где под внешней грубостью и щегольством похабными словами живет такая же слащавая, истеричная сентиментальность, как и в женских пансионах и, говорят, в каторжных тюрьмах.

Все уже были одеты и готовы к приему гостей в доме Анны Марковны и томились бездельем и ожиданием. Несмотря на то, что большинство женщин испытывало к мужчинам, за исключением своих любовников, полное, даже несколько брезгливое равнодушие, в их душах перед каждым вечером все-таки оживали и шевелились смутные надежды: неизвестно, кто их выберет, не случится ли чего-нибудь необыкновенного, смешного или увлекательного, не удивит ли гость своей щедростью, не будет ли какого-нибудь чуда, которое перевернет всю жизнь? В этих предчувствиях и надеждах было нечто похожее на те волнения, которые испытывает привычный игрок, пересчитывающий перед отправлением в клуб свои наличные деньги. Кроме того, несмотря на свою бесполость, они все-таки не утеряли самого главного, инстинктивного стремления женщин – нравиться.

И правда, иногда приходили в дом совсем диковинные лица и происходили сумбурные, пестрые события. Являлась вдруг полиция вместе с переодетыми сыщиками и арестовывала каких-нибудь приличных на вид, безукоризненных джентльменов и уводила их, толкая в шею. Порою завязывались драки между пьяной скандальной компанией и швейцарами изо всех заведений, сбегавшимися на выручку товарищу швейцару, – драка, во время которой разбивались стекла в окнах и фортепианные деки, когда выламывались, как оружие, ножки у плюшевых стульев, кровь заливала паркет в зале и ступеньки лестницы, и люди с проткнутыми боками и проломленными головами валились в грязь у подъезда, к звериному, жадному восторгу Женьки, которая с горящими глазами, со счастливым смехом лезла в самую гущу свалки, хлопала себя по бедрам, бранилась и науськивала, в то время как ее подруги визжали от страха и прятались под кровати.

---

[1] Падеспань (*франц.*)

Случалось, приезжал со стаей прихлебателей какой-нибудь артельщик или кассир, давно уже зарвавшийся в многотысячной растрате, в карточной игре и безобразных кутежах и теперь дошвыривающий, перед самоубийством или скамьей подсудимых, в угарном, пьяном, нелепом бреду, последние деньги. Тогда запирались наглухо двери и окна дома, и двое суток кряду шла кошмарная, скучная, дикая, с выкриками и слезами, с надругательством над женским телом, русская оргия, устраивались райские ночи, во время которых уродливо кривлялись под музыку нагишом пьяные, кривоногие, волосатые, брюхатые мужчины и женщины с дряблыми, желтыми, обвисшими, жидкими телами, пили и жрали, как свиньи, в кроватях и на полу, среди душной, проспиртованной атмосферы, загаженной человеческим дыханием и испарениями нечистой кожи.

Изредка появлялся в заведении цирковый атлет, производивший в невысоких помещениях странно-громоздкое впечатление, вроде лошади, введенной в комнату, китаец в синей кофте, белых чулках и с косой, негр из кафешантана в смокинге и клетчатых панталонах, с цветком в петлице и в крахмальном белье, которое, к удивлению девиц, не только не пачкалось от черной кожи, но казалось еще более ослепительно-блестящим.

Эти редкие люди будоражили пресыщенное воображение проституток, возбуждай их истощенную чувственность и профессиональное любопытство, и все они, почти влюбленные, ходили за ними следом, ревнуя и огрызаясь друг на друга.

Был случай, что Симеон впустил в залу какого-то пожилого человека, одетого по-мещански. Ничего не было в нем особенного: строгое, худое лицо с выдающимися, как желваки, костистыми, злобными скулами, низкий лоб, борода клином, густые брови, один глаз заметно выше другого. Войдя, он поднес ко лбу сложенные для креста пальцы, но, пошарив глазами по углам и не найдя образа, нисколько не смутился, опустил руку, плюнул и тотчас же с деловым видом подошел к самой толстой во всем заведении девице – Катьке.

– Пойдем! – скомандовал он коротко и мотнул решительно головой на дверь,

Но во время его отсутствия всезнающий Симеон с таинственным и даже несколько гордым видом успел сообщить своей тогдашней любовнице Нюре, а она шепотом, с ужасом в округлившихся глазах, рассказала подругам по секрету о том, что фамилия мещанина – Дядченко и что он прошлой осенью вызвался, за отсутствием палача, совершить казнь над одиннадцатью бунтовщиками и собственноручно повесил их в два утра. И – как это ни чудовищно – не было в этот час ни одной девицы во всем заведении, которая не почувствовала бы зависти к толстой Катьке и не испытала бы жуткого, терпкого, головокружительного любопытства. Когда Дядченко через полчаса уходил со своим степенным и суровым видом, все женщины безмолвно, разинув рты, провожали его до выходной двери и потом следили за ним из окон, как он шел по улице. Потом кинулись в комнату одевавшейся Катьки и засыпали ее расспросами. Глядели с новым чувством, почти с изумлением на ее голые, красные, толстые руки, на смятую еще постель, на бумажный старый, засаленный рубль, который Катька показала им, вынув его из чулка. Катька ничего не могла рассказать – «мужчина как мужчина, как все мужчины», – говорила она со спокойным недоумением, но когда узнала, кто был ее гостем, то вдруг расплакалась, сама не зная почему.

Этот человек, отверженный из отверженных, так низко упавший, как только может представить себе человеческая фантазия, этот добровольный палач, обошелся с ней без грубости, но с таким отсутствием хоть бы намека на ласку, с таким пренебрежением и деревянным равнодушием, как обращаются не с человеком, даже не с собакой или лошадью, и даже не с зонтиком, пальто или шляпой, а как с каким-то грязным предметом, в котором является минутная неизбежная потребность, но который по миновании надобности становится чуждым, бесполезным и противным. Всего ужаса этой мысли толстая Катька не могла объять своим мозгом откормленной индюшки и потому плакала, – как и ей самой казалось, – беспричинно и бестолково.

Бывали и другие происшествия, взбалтывавшие мутную, грязную жизнь этих бедных, больных, глупых, несчастных женщин. Бывали случаи дикой, необузданной ревности с пальбой из револьвера и отравлением; иногда, очень редко, расцветала на этом навозе нежная, пламенная и чистая любовь; иногда женщины даже покидали при помощи любимого человека заведение, но почти всегда возвращались обратно. Два или три раза случалось, что женщина из публичной» дома вдруг оказывалась беременной, и это всегда бывало, по внешности, смешно и позорно, но в глубине события – трогательно.

И как бы то ни было, каждый вечер приносил с собою такое раздражающее, напряженное, пряное ожидание приключений, что всякая другая жизнь, после дома терпимости, казалась этим ленивым, безвольным женщинам пресной и скучной.

V

Окна раскрыты настежь в душистую темноту вечера, и тюлевые занавески слабо колышутся взад и вперед от незаметного движения воздуха. Пахнет росистой травой из чахлого маленького палисадника перед домом, чуть-чуть сиренью и вянущим березовым листом от троицких деревцов у подъезда. Люба в синей бархатной кофте с низко вырезанной грудью и Нюра, одетая как «бэбэ», в розовый широкий сак до колен, с распущенными светлыми волосами и с кудряшками на лбу, лежат, обнявшись, на подоконнике и поют потихоньку очень известную между проститутками злободневную песню про больницу. Нюра тоненько, в нос, выводит первый голос, Люба вторит ей глуховатым альтом:

Понедельник наступает,
Мне на выписку идти,
Доктор Красов не пускает…

Во всех домах отворенные окна ярко освещены, а перед подъездами горят висячие фонари. Обеим девушкам отчетливо видна внутренность залы в заведении Софьи Васильевны, что напротив: желтый блестящий паркет, темно-вишневые драпри на дверях, перехваченные шнурами, конец черного рояля, трюмо в золоченой раме и то мелькающие в окнах, то скрывающиеся женские фигуры в пышных платьях и их отражения в зеркалах. Резное крыльцо Треппеля, направо, ярко озарено голубоватым электрическим светом из большого матового шара.

Вечер тих и тепел. Где-то далеко-далеко, за линией железной дороги, за какими-то черными крышами и тонкими черными стволами деревьев, низко, над темной землей, в которой глаз не видит, а точно чувствует могучий зеленый весенний тон, рдеет алым золотом, прорезавшись сквозь сизую мглу, узкая, длинная полоска поздней зари. И в этом неясном дальнем свете, в ласковом воздухе, в запахах наступающей ночи была какая-то тайная, сладкая, сознательная печаль, которая бывает так нежна в вечера между весной и летом. Плыл неясный шум города, слышался скучающий гнусавый напев гармонии, мычание коров, сухо шаркали чьи-то подошвы, и звонко стучала окованная палочка о плиты тротуара, лениво и неправильно погромыхивали колеса извозчичьей пролетки, катившейся шагом по Яме, и все эти звуки сплетались красиво и мягко в задумчивой дремоте вечера. И свистки паровозов на линии железной дороги, обозначенной в темноте зелеными и красными огоньками, раздавались с тихой, певучей осторожностью.

Вот сиделочка прихо-одит,
Булку с сахаром несет…
Булку с сахаром несет,
Всем поровну раздает.

– Прохор Иванович! – вдруг окликает Нюра кудрявого слугу из пивной, который легким черным силуэтом перебегает через дорогу. – А Прохор Иваныч!

– Ну вас! – сипло огрызается тот. – Чего еще?

– Вам велел кланяться один ваш товарищ. Я его сегодня видела.

– Какой такой товарищ?

– Такой хорошенький! Брюнетик симпатичный… Нет, а вы спросите лучше, где я его видела?

– Ну где? – Прохор Иванович приостанавливается на минуту.

– А вот где: у нас на гвозде, на пятой полке, где дохлые волки.

– Ат! Дура еловая.

Нюра хохочет визгливо на всю Яму и валится на подоконник, брыкая ногами в высоких черных чулках. Потом, перестав смеяться, она сразу делает круглые удивленные глаза и говорит шепотом:

– А знаешь, девушка, ведь он в позапрошлом годе женщину одну зарезал, Прохор-то. Ей-богу.

– Ну? До смерти?

– Нет, не до смерти. Выкачалась, – говорит Нюра, точно с сожалением. – Однако два месяца пролежала в Александровской. Доктора говорили, что если бы на вот-вот столечко повыше, – то кончено бы. Амба!

– За что же он ее?

– А я знаю? Может быть, деньги от него скрывала или изменила. Любовник он у ей был – кот.

– Ну и что же ему за это?

– А ничего. Никаких улик не было. Была тут общая склока. Человек сто дралось. Она тоже в полицию заявила, что никаких подозрений не имеет. Но Прохор сам потом хвалился: я, говорит, в тот раз Дуньку не зарезал, так в другой раз дорежу. Она, говорит, от моих рук не уйдет. Будет ей амба!

Люба вздрагивает всей спиной.

– Отчаянные они, эти коты! – произносит она тихо, с ужасом в голосе.

– Страсть до чего! Я, ты знаешь, с нашим Симеоном крутила любовь целый год. Такой ирод, подлец! Живого места на мне не было, вся в синяках ходила. И не то, чтобы за что-нибудь, а просто так, пойдет утром со мной в комнату, запрется и давай меня терзать. Руки выкручивает, за груди щиплет, душить начнет за горло. А то целует-целует, да как куснет за губы, так кровь аж и брызнет… я заплачу, а ему только этого и нужно. Так зверем на меня и кинется, аж задрожит. И все деньги от меня отбирал, ну вот все до копеечки. Не на что было десятка папирос купить. Он ведь скупой, Симеон-то, все на книжку, на книжку относит… Говорит, что, как соберет тысячу рублей, – в монастырь уйдет.

– Ну?

– Ей-богу. Ты посмотри у него в комнатке: круглые сутки, днем и ночью, лампадка горит перед образами. Он очень до бога усердный… Только я думаю, что он оттого такой, что тяжелые грехи на нем. Убийца он.

– Да что ты?

– Ах, да ну его, бросим о нем, Любочка. Ну, давай дальше:

Пойду в хаптеку, куплю я ха-ду,
Сама себя я хатравлю, —

заводит Нюра тоненьким голоском.

Женя ходит взад и вперед по зале, подбоченившись, раскачиваясь на ходу и заглядывая на себя во все зеркала. На ней надето короткое атласное оранжевое платье с прямыми глубокими складками на юбке, которая мерно колеблется влево и вправо от движения ее бедер. Маленькая Манька, страстная любительница карточной игры, готовая играть с утра до утра не переставая, дуется в «шестьдесят шесть» с Пашей, причем обе женщины для удобства сдачи оставили между собою пустой стул, а взятки собирают себе в юбки, распяленные между коленями. На Маньке коричневое, очень скромное платье, с черным передником и плоеным черным нагрудником; этот костюм очень идет к ее нежной белокурой головке и маленькому росту, молодит ее и делает похожей на гимназистку предпоследнего класса.

Ее партнерша Паша – очень странная и несчастная девушка. Ей давно бы нужно быть не в доме терпимости, а в психиатрической лечебнице из-за мучительного нервного недуга, заставляющего ее исступленно, с болезненной жадностью отдаваться каждому мужчине, даже самому противному, который бы ее ни выбрал. Подруги издеваются над нею и несколько презирают ее за этот порок, точно как за какую-то измену корпоративной вражде к мужчинам. Нюра очень похоже передразнивает ее вздохи, стоны, выкрики и страстные слова, от которых она никогда не может удержаться в минуты экстаза и которые бывают слышны через две или три перегородки в соседних комнатах. Про Пашу ходит слух, что она вовсе не по нужде и не соблазном или обманом попала в публичный дом, а поступила в него сама, добровольно, следуя своему ужасному ненасытному инстинкту. Но хозяйка дома и обе экономки всячески балуют Пашу и поощряют ее безумную слабость, потому что благодаря ей Паша идет нарасхват и зарабатывает вчетверо, впятеро больше любой из остальных девушек, – зарабатывает так много, что в бойкие праздничные дни ее вовсе не выводят к гостям «посерее» или отказывают им под предлогом Пашиной болезни, потому что постоянные хорошие гости обижаются, если им говорят, что их знакомая девушка занята с другим. А таких постоянных гостей у Паши пропасть; многие совершенно искренно, хотя и по-скотски, влюблены в нее, и даже не так давно двое почти одновременно звали ее на содержание: грузин – приказчик из магазина кахетинских вин – и какой-то железнодорожный агент, очень гордый и очень бедный дворянин высокого роста, с махровыми манжетами, с глазом, замененным черным кружком на резинке. Паша, пассивная во всем, кроме своего безличного сладострастия, конечно, пошла бы за всяким, кто позвал бы ее, но администрация дома зорко оберегает в ней свои интересы. Близкое безумие уже сквозит в ее миловидном лице, в ее полузакрытых глазах, всегда улыбающихся какой-то хмельной, блаженной, кроткой, застенчивой и непристойной улыбкой, в ее томных, размягченных, мокрых губах, которые она постоянно облизывает, в ее коротком тихом смехе – смехе идиотки. И вместе с тем она – эта истинная жертва общественного темперамента – в обиходной жизни очень добродушна, уступчива, совершенная бессребреница и очень стыдится своей чрезмерной страстности. К подругам она нежна, очень любит целоваться и обниматься с ними и спать в одной постели, но ею все как будто бы немного брезгуют.

– Манечка, душечка, миленькая, – говорит умильно Паша, дотрогиваясь до Маниной руки, – погадай мне, золотая моя деточка.

– Ну-у, – надувает Маня губы, точно ребенок. – Поигра-аем еще.

– Манечка, хорошенькая, пригоженькая, золотцо мое, родная, дорогая…

Маня уступает и раскладывает колоду у себя на коленях. Червонный дом выходит, небольшой денежный интерес и свидание в пиковом доме при большой компании с трефовым королем.

Паша всплескивает радостно руками:

– Ах, это мой Леванчик! Ну да, он обещал сегодня прийти. Конечно, Леванчик.

– Это твой грузин?

– Да, да, мой грузинчик. Ох, какой он приятный. Так бы никогда его от себя не отпустила. Знаешь, он мне в последний раз что сказал? «Если ты будешь еще жить в публичном доме, то я сделаю и тэбэ смэрть и сэбэ сделаю смэрть». И так глазами на меня сверкнул.

Женя, которая остановилась вблизи, прислушивается к ее словам и спрашивает высокомерно:

– Это кто это так сказал?

– А мой грузинчик Леван. И тебе смерть, и мне смерть.

– Дура. Ничего он не грузинчик, а просто армяшка. Сумасшедшая ты дура.

– Ан нет, грузин. И довольно странно с твоей стороны…

– Говорю тебе – армяшка. Мне лучше знать. Дура!

– Чего же ты ругаешься. Женя? Я же тебя первая не ругала.

– Еще бы ты первая стала ругаться. Дура! Не все тебе равно, кто он такой? Влюблена ты в него, что ли?

– Ну и влюблена!

– Ну и дура. А в этого, с кокардой, в кривого, тоже влюблена?

– Так что же? Я его очень уважаю. Он очень солидный.

– И в Кольку-бухгалтера? И в подрядчика? И в Антошку-картошку? И в актера толстого? У-у, бесстыдница! – вдруг вскрикивает Женя. – Не могу видеть тебя без омерзения. Сука ты! Будь я на твоем месте такая разнесчастная, я бы лучше руки на себя наложила, удавилась бы на шнурке от корсета. Гадина ты!

Паша молча опускает ресницы на глаза, налившиеся слезами. Маня пробует заступиться за нее.

– Что уж это ты так, Женечка… Зачем ты на нее так…

– Эх, все вы хороши! – резко обрывает ее Женя. – Никакого самолюбия!.. Приходит хам, покупает тебя, как кусок говядины, нанимает, как извозчика, по таксе, для любви на час, а ты и раскисла: «Ах, любовничек! Ах, неземная страсть!» Тьфу!

Она гневно поворачивается к ним спиною и продолжает свою прогулку по диагонали залы, покачивая бедрами и щурясь на себя в каждое зеркало

В это время Исаак Давидович, тапер, все еще бьется с неподатливым скрипачом.

– Не так, не так, Исай Саввич. Вы бросьте скрипку на минуточку. Прислушайтесь немножко ко мне. Вот мотив.

Он играет одним пальцем и напевает тем ужасным козлиным голосом, каким обладают все капельмейстеры, в которые он когда-то готовился:

– Эс-там, эс-там, эс-тиам-тиам. Ну теперь повторяйте за мною первое колено за первый раз… Ну… ейн, цвей…

За их репетицией внимательно следят: сероглазая, круглолицая, круглобровая, беспощадно намазавшаяся дешевыми румянами и белилами Зоя, которая облокотилась на фортепиано, и Вера, жиденькая, с испитым лицом, в костюме жокея; в круглой шапочке с прямым козырьком, в шелковой полосатой, синей с белым, курточке, в белых, обтянутых туго рейтузах и в лакированных сапожках с желтыми отворотами. Вера и в самом деле похожа на жокея, с своим узким лицом, на котором очень блестящие голубые глаза, под спущенной на лоб лихой гривкой, слишком близко посажены к горбатому, нервному, очень красивому носу. Когда, наконец, после долгих усилий, музыканты слаживаются, низенькая Вера подходит к рослой Зое той мелкой, связанной походкой, с оттопыренным задом и локтями на отлете, какой ходят только женщины в мужских костюмах, и делает ей, широко разводя вниз руками, комический мужской поклон. И они с большим удовольствием начинают носиться по зале.

Прыткая Нюра, всегда первая объявляющая все новости, вдруг соскакивает с подоконника и кричит, захлебываясь от волнения и торопливости:

– К Треппелю… подъехали… лихач… с электричеством… Ой, девоньки… умереть на месте… на оглоблях электричество.

Все девицы, кроме гордой Жени, высовываются из окон. Около треппелевского подъезда действительно стоит лихач. Его новенькая щегольская пролетка блестит свежим лаком, на концах оглобель горят желтым светом два крошечных электрических фонарика, высокая белая лошадь нетерпеливо мотает красивой головой с голым розовым пятном на храпе, перебирает на месте ногами и прядет тонкими ушами; сам бородатый, толстый кучер сидит на козлах, как изваяние, вытянув прямо вдоль колен руки.

– Вот бы прокатиться! – взвизгивает Нюра. – Дяденька-лихач, а дяденька-лихач, – кричит она, перевешиваясь через подоконник, – прокатай бедную девчоночку… Прокатай за любовь…

Но лихач смеется, делает чуть заметное движение пальцами, и белая лошадь тотчас же, точно она только этого и дожидалась, берет с места доброй рысью, красиво заворачивает назад и с мерной быстротой уплывает в темноту вместе с пролеткой и широкой спиной кучера.

– Пфуй! Безобразие! —раздается в комнате негодующий голос Эммы Эдуардовны. – Ну где это видано, чтобы порядочные барышни позволяли себе вылезать на окошко и кричать на всю улицу. О, скандал! И все Нюра, и всегда эта ужасная Нюра!

Она величественна в своем черном платье, с желтым дряблым лицом, с темными мешками под глазами, с тремя висящими дрожащими подбородками. Девицы, как провинившиеся пансионерки, чинно рассаживаются по стульям вдоль стен, кроме Жени, которая продолжает созерцать себя во всех зеркалах. Еще два извозчика подъезжают напротив, к дому Софьи Васильевны. Яма начинает оживляться. Наконец еще одна пролетка грохочет по мостовой, и шум ее сразу обрывается у подъезда Анны Марковны.

Швейцар Симеон помогает кому-то раздеться в передней. Женя заглядывает туда, держась обеими руками за дверные косяки, но тотчас же оборачивается назад и на ходу пожимает плечами и отрицательно трясет головой.

– Не знаю, какой-то совсем незнакомый, – говорит она вполголоса. – Никогда у нас не был. Какой-то папашка, толстый, в золотых очках и в форме.

Эмма Эдуардовна командует голосом, звучащим, как призывная кавалерийская труба:

– Барышни, в залу! В залу, барышни!

Одна за другой надменными походками выходят в залу: Тамара с голыми белыми руками и обнаженной шеей, обвитой ниткой искусственного жемчуга, толстая Катька с мясистым четырехугольным лицом и низким лбом – она тоже декольтирована, но кожа у нее красная и в пупырышках; новенькая Нина, курносая и неуклюжая, в платье цвета зеленого попугая; другая Манька – Манька Большая или Манька Крокодил, как ее называют, и – последней – Сонька Руль, еврейка, с некрасивым темным лицом и чрезвычайно большим носом, за который она и получила свою кличку, но с такими прекрасными большими глазами, одновременно кроткими и печальными, горящими и влажными, какие среди женщин всего земного шара бывают только у евреек.

VI

Пожилой гость в форме благотворительного ведомства вошел медленными, нерешительными шагами, наклоняясь при каждом шаге немного корпусом вперед и потирая кругообразными движениями свои ладони, точно умывая их. Так как все женщины торжественно молчали, точно не замечая его, то он пересек залу и опустился на стул рядом с Любой, которая согласно этикету только подобрала немного юбку, сохраняя рассеянный и независимый вид девицы из порядочного дома.

– Здравствуйте, барышня, – сказал он.

– Здравствуйте, – отрывисто ответила Люба.

– Как вы поживаете?

– Спасибо, благодарю вас. Угостите покурит!

– Извините – некурящий.

– Вот так-так. Мужчина и вдруг не курит. Ну так угостите лафитом с лимонадом. Ужас как люблю лафит с лимонадом.

Он промолчал.

– У, какой скупой, папашка! Вы где это служите? Вы чиновники?

– Нет, я учитель. Учу немецкому языку.

– А я вас где-то видела, папочка. Ваша физиономия мне знакома. Где я с вами встречалась?

– Ну уж не знаю, право. На улице разве.

– Может быть, и на улице… Вы хотя бы апельсином угостили. Можно спросить апельсин?

Он опять замолчал, озираясь кругом. Лицо у него заблестело, и прыщи на лбу стали красными. Он медленно оценивал всех женщин, выбирая себе подходящую и в то же время стесняясь своим молчанием. Говорить было совсем не о чем; кроме того, равнодушная назойливость Любы раздражала его. Ему нравилась своим большим коровьим телом толстая Катя, но, должно быть, – решал он в уме,она очень холодна в любви, как все полные женщины, и к тому же некрасива лицом. Возбуждала его также и Вера своим видом мальчишки и крепкими ляжками, плотно охваченными белым трико, и Беленькая Маня, так похожая на невинную гимназистку, и Женя со своим энергичным, смуглым, красивым лицом. Одну минуту он совсем уж было остановился на Жене, но только дернулся на стуле и не решился: по ее развязному, недоступному и небрежному виду и по тому, как она искренно не обращала на него никакого внимания, он догадывался, что она – самая избалованная среди всех девиц заведения, привыкшая, чтобы на нее посетители шире тратились, чем на других. А педагог был человек расчетливый, обремененный большим семейством и истощенной, исковерканной его мужской требовательностью женой, страдавшей множеством женских болезней. Преподавая в женской гимназии и в институте, он постоянно жил в каком-то тайном сладострастном бреду, и только немецкая выдержка, скупость и трусость помогали ему держать в узде свою вечно возбужденную похоть. Но раза два-три в год он с невероятными лишениями выкраивал из своего нищенского бюджета пять или десять рублей, отказывая себе в любимой вечерней кружке пива и выгадывая на конках, для чего ему приходилось делать громадные концы по городу пешком. Эти деньги он отделял на женщин и тратил их медленно, со вкусом, стараясь как можно более продлить и удешевить наслаждение. И за свои деньги он хотел очень многого, почти невозможного: его немецкая сентиментальная душа смутно жаждала невинности, робости, поэзии в белокуром образе Гретхен, но, как мужчина, он мечтал, хотел и требовал, чтобы его ласки приводили женщину в восторг, и трепет, и в сладкое изнеможение.

Впрочем, того же самого добивались все мужчины даже самые лядащие, уродливые, скрюченные и бессильные из них, – и древний опыт давно уже научил женщин имитировать

голосом и движениями самую пылкую страсть, сохраняя в бурные минуты самое полнейшее хладнокровие.

– Хоть по крайности закажите музыкантам сыграть полечку. Пусть барышни потанцуют, – попросила ворчливо Люба.

Это было ему с руки. Под музыку, среди толкотни танцев, было гораздо удобнее решиться встать, увести из залы одну из девиц, чем сделать это среди общего молчания и чопорной неподвижности.

– А сколько это стоит? – спросил он осторожно.

– Кадриль – полтинник, а такие танцы – тридцать копеек. Так можно?

– Ну что ж… пожалуйста… Мне не жаль… – согласился он, притворяясь щедрым. – Кому здесь сказать?

– А вон, музыкантам.

– Отчего же… я с удовольствием… Господин музыкант, пожалуйста, что-нибудь из легких танцев, – сказал он, кладя серебро на фортепиано.

– Что прикажете? – спросил Исай Саввич, пряча деньги в карман. – Вальс, польку, польку-мазурку?

– Ну… что-нибудь такое…

– Вальс, вальс! – закричала с своего места Вера, большая любительница танцевать.

– Нет, польку!.. Вальс!.. Венгерку!.. Вальс! – потребовали другие.

– Пускай играют польку, – решила капризным тоном Люба. – Исай Саввич, сыграйте, пожалуйста, полечку. Это мой муж, и он для меня заказывает, – прибавила она, обнимая за шею педагога. – Правда, папочка?

Но он высвободился из-под ее руки, втянув в себя голову, как черепаха, и она без всякой обиды пошла танцевать с Нюрой. Кружились и еще три пары. В танцах все девицы старались держать талию как можно прямее, а голову как можно неподвижнее, с полным безучастием на лицах, что составляло одно из условий хорошего тона заведения. Под шумок учитель подошел к Маньке Маленькой.

– Пойдемте? – сказал он, подставляя руку калачиком.

– Поедемте, – ответила она смеясь.

Она привела его в свою комнату, убранную со всей кокетливостью спальни публичного дома средней руки: комод, покрытый вязаной – скатертью, и на нем зеркало, букет бумажных цветов, несколько пустых бонбоньерок, пудреница, выцветшая фотографическая карточка белобрысого молодого человека с гордо-изумленным лицом, несколько визитных карточек; над кроватью, покрытой пикейным розовым одеялом, вдоль стены прибит ковер с изображением турецкого султана, нежащегося в своем гареме, с кальяном во рту; на стенах еще несколько фотографий франтоватых мужчин лакейского и актерского типа; розовый фонарь, свешивающийся на цепочках с потолка; круглый стол под ковровой скатертью, три венских стула, эмалированный таз и такой же кувшин в углу на табуретке, за кроватью.

– Угости, милочка, лафитом с лимонадом, – попросила, по заведенному обычаю, Манька Маленькая, расстегивая корсаж.

– Потом, – сурово ответил педагог. – Это от тебя самой будет зависеть. И потом: какой же здесь у вас может быть лафит? Бурда какая-нибудь.

– У нас хороший лафит, – обидчиво возразила девушка. – Два рубля бутылка. Но если ты такой скупой, купи хоть пива. Хорошо?

– Ну, пива, это можно.

– А мне лимонаду и апельсинов. Да?

– Лимонаду бутылку – да, а апельсинов – нет. Потом, может быть, я тебя даже и шампанским угощу, все от тебя будет зависеть. Если постараешься.

– Так я спрошу, папашка, четыре бутылки пива и две лимонаду? Да? И для меня хоть плиточку шоколаду. Хорошо? Да?

– Две бутылки пива, бутылку лимонаду и больше ничего. Я не люблю, когда со мной торгуются. Если надо, я сам потребую.

– А можно мне одну подругу пригласить?

– Нет уж, пожалуйста, без всяких подруг.

Манька высунулась из двери в коридор и крикнула звонко:

– Экономочка! Две бутылки пива и для меня бутылку лимонаду.

Пришел Симеон с подносом и стал с привычной быстротой откупоривать бутылки. Следом за ним пришла экономка Зося.

– Ну вот, как хорошо устроились. С законным браком! – поздравила она.

– Папаша, угости экономочку пивом, – попросила Манька. – Кушайте, экономочка.

– Ну, в таком случае за ваше здоровье, господин. Что-то лицо мне ваше точно знакомо?

Немец пил пиво, обсасывая и облизывая усы, и нетерпеливо ожидал, когда уйдет экономка. Но она, поставив свой стакан и поблагодарив, сказала:

– Позвольте, господин, получить с вас деньги. За пиво, сколько следует, и за время. Это и для вас лучше и для нас удобнее.

Требование денег покоробило учителя, потому что совершенно разрушало сентиментальную часть его намерений. Он рассердился:

– Что это, в самом деле, за хамство! Кажется, я бежать не собираюсь отсюда. И потом разве вы не умеете разбирать людей? Видите, что к вам пришел человек порядочный, в форме, а не какой-нибудь босяк. Что за назойливость такая!

Экономка немного сдалась.

– Да вы не обижайтесь, господин. Конечно, за визит вы сами барышне отдадите. Я думаю, не обидите, она у нас девочка славная. А уж за пиво и лимонад потрудитесь заплатить. Мне тоже хозяйке надо отчет отдавать. Две бутылки пива, по пятидесяти – рубль и лимонад тридцать рубль тридцать.

– Господи, бутылка пива пятьдесят копеек! – возмутился немец. – Да я в любой портерной достану его за двенадцать копеек.

– Ну и идите в портерную, если там дешевле, – обиделась Зося. – А если вы пришли в приличное заведение, то это уже казенная цена – полтинник. Мы ничего лишнего не берем. Вот так-то лучше. Двадцать копеек вам сдачи?

– Да, *непременно сдачи*, – твердо подчеркнул учитель. – И прошу вас, чтобы больше никто не входил.

– Нет, нет, нет, что вы, – засуетилась около двери Зося. – Располагайтесь, как вам будет угодно, в полное свое удовольствие. Приятного вам аппетита.

Манька заперла за нею дверь на крючок и села немцу на одно колено, обняв его голой рукой.

– Ты давно здесь? – спросил он, прихлебывая пиво. Он чувствовал смутно, что то подражание любви, которое сейчас должно произойти, требует какого-то душевного сближения, более интимного знакомства, и поэтому, несмотря на свое нетерпение, начал обычный разговор, который ведется почти всеми мужчинами наедине с проститутками и который заставляет их лгать почти механически, лгать без огорчения, увлечения Или злобы, по одному престарому трафарету.

– Недавно, всего третий месяц.

– А сколько тебе лет?

– Шестнадцать, – соврала Маленькая Манька, убавив себе пять лет.

– О, такая молоденькая! – удивился немец и стал, нагнувшись и кряхтя, снимать сапоги. – Как же ты сюда попала?

– А меня один офицер лишил невинности там… у себя на родине. А мамаша у меня ужас какая строгая. Если бы она узнала, она бы меня собственными руками задушила. Ну вот я и убежала из дому и поступила сюда…

– А офицера-то ты любила, который первый-то?

– Коли не любила бы, то не пошла бы к нему. Он, подлец, жениться обещал, а потом добился, чего ему нужно, и бросил.

– Что же, тебе стыдно было в первый раз?

– Конечно, что стыдно… Ты как, папашка, любишь со светом или без света? Я фонарь немножко притушу. Хорошо?

– А что же, ты здесь не скучаешь? Как тебя зовут?

– Маней. Понятно, что скучаю. Какая наша жизнь!

Немец поцеловал ее крепко в губы и опять спросил:

– А мужчин ты любишь? Бывают мужчины, которые тебе приятны? Доставляют удовольствие?

– Как не бывать, – засмеялась Манька. – Я особенно люблю вот таких, как ты, симпатичных, толстеньких.

– Любишь? А? Отчего любишь?

– Да уж так люблю. Вы тоже симпатичный.

Немец соображал несколько секунд, задумчиво отхлебывая пиво. Потом сказал то, что почти каждый мужчина говорит проститутке в эти минуты, предшествующие случайному обладанию ее телом:

– Ты знаешь, Марихен, ты мне тоже очень нравишься. Я бы охотно взял тебя на содержание.

– Вы женат, – возразила она, притрогиваясь к его кольцу.

– Да, но, понимаешь, я не живу с женой, она нездорова, не может исполнять супружеских обязанностей.

– Бедная! Если бы она узнала, куда ты, папашка, ходишь, она бы, наверно, плакала.

– Оставим это. Так знаешь. Мари, я себе все время ищу вот такую девочку, как ты, такую скромную и хорошенькую. Я человек состоятельный, я бы тебе нашел квартиру со столом, с отоплением, с освещением. И на булавки сорок рублей в месяц. Ты бы пошла?

– Отчего не пойти, пошла бы.

Он поцеловал ее взасос, но тайное опасение быстро проскользнуло в его трусливом сердце.

– А ты здорова? – спросил он враждебным, вздрагивающим колосом.

– Ну да, здорова. У нас каждую субботу докторский осмотр.

Через пять минут она ушла от него, пряча на ходу в чулок заработанные деньги, на которые, как на первый почин, она предварительно поплевала, по суеверному обычаю. Ни о содержании, ни о симпатичности не было больше речи. Немец остался недоволен холодностью Маньки и велел позвать к себе экономку.

– Экономочка, вас мой муж к себе требует! – сказала Маня, войдя в залу и поправляя волосы перед зеркалом.

Зося ушла, потом вернулась и вызвала в коридор Пашу. Потом вернулась в залу уже одна.

– Ты что это, Манька Маленькая, не угодила своему кавалеру? – спросила она со смехом. – Жалуется на тебя: «Это, говорит, не женщина, а бревно какое-то деревянное, кусок лёду». Я ему Пашку послала.

– Э, противный какой! – сморщилась Манька и отплюнулась. – Лезет с разговорами. Спрашивает: ты чувствуешь, когда я тебя целую? Чувствуешь приятное волнение? Старый пес. На содержание, говорит, возьму.

– Все они это говорят, – заметила равнодушно Зоя.

Но Женя, которая с утра была в злом настроении, вдруг вспыхнула.

– Ах он, хам этакий, хамло несчастное! – воскликнула она, покраснев и энергично упершись руками в бока. – Да я бы взяла его, поганца старого, за ухо, да подвела бы к зеркалу и показала бы ему его гнусную морду. Что? Хорош? А как ты еще будешь лучше, когда у тебя слюни изо рта потекут, и глаза перекосишь, и начнешь ты захлебываться и хрипеть, и сопеть прямо женщине в лицо. И ты хочешь за свой проклятый рубль, чтобы я перед тобой в лепешку растрепалась и чтобы от твоей мерзкой любви у меня глаза на лоб полезли? Да по морде бы его, подлеца, по морде! До крови!

– О, Женя! Перестань же! Пфуй! – остановила ее возмущенная ее грубым тоном щепетильная Эмма Эдуардовна.

– Не перестану! – резко оборвала она. Но сама замолчала и гневно отошла прочь с раздувающимися ноздрями и с огнем в потемневших красивых глазах.

VII

Зал понемногу наполнялся. Пришел давно знакомый всей Яме Ванька-Встанька – высокий, худой, красноносый седой старик, в форме лесного кондуктора, в высоких сапогах, с деревянным аршином, всегда торчащим из бокового кармана. Целые дни и вечера проводил он завсегдатаем в бильярдной при трактире, вечно вполпьяна, рассыпая свои шуточки, рифмы и приговорочки, фамильярничая со швейцаром, с экономками и девушками. В домах к нему относились все – от хозяйки до горничных – с небрежной, немного презрительной, но без злобы, насмешечкой. Иногда он бывал и не без пользы: передавал записочки от девиц их любовникам, мог сбегать на рынок или в аптеку. Нередко благодаря своему развязно привешенному языку и давно угасшему самолюбию втирался в чужую компанию и увеличивал ее расходы, а деньги, взятые при этом взаймы, он не уносил на сторону, а тут же тратил на женщин разве-разве оставлял себе мелочь на папиросы. И его добродушно, по привычке, терпели.

– Вот и Ванька-Встанька пришел, – доложила Нюра, когда он, уже успев поздороваться дружески за ручку со швейцаром Симеоном, остановился в дверях залы, длинный, в форменной фуражке, лихо сбитой набекрень. – Ну-ка, Ванька-Встанька, валяй!

– Имею честь представиться, – тотчас же закривлялся Ванька-Встанька, по-военному прикладывая руку к козырьку, – тайный почетный посетитель местных благоугодных заведений, князь Бутылкин, граф Наливкин, барон Тпрутинкевич-Фьютинковский. Господину Бетховену! Господину Шопену! – поздоровался он с музыкантами. – Сыграйте мне что-нибудь из оперы «Храбрый и славный генерал Анисимов, или Суматоха в колидоре». Политической экономочке Зосе мое почтение. А-га! Только на пасху целуетесь? Запишем-с. У-ти, моя Тамалочка, мусисюпинькая ти моя!

Так, с шутками и со щипками, он обошел всех девиц и, наконец, уселся рядом с толстой Катей, которая положила ему на ногу свою толстую ногу, оперлась о свое колено локтем, а на ладонь положила подбородок и равнодушно и пристально стала смотреть, как землемер крутил себе папиросу.

– И как тебе не надоест, Ванька-Встанька? Всегда ты вертишь свою козью ногу.

Ванька-Встанька сейчас же задвигал бровями и кожей черепа и заговорил стихами:

Папироска, друг мой тайный,
Как тебя мне не любить?
Не по прихоти случайной
Стали все тебя курить.

– Ванька-Встанька, а ведь ты скоро подохнешь, – сказала равнодушно Катька.

– И очень просто.

– Ванька-Встанька, скажи еще что-нибудь посмешнее стихами, – просила Верка.

И он сейчас же, послушно, встав в смешную позу, начал декламировать:

Много звезд на небе ясном,
Но их счесть никак нельзя,
Ветер шепчет, будто можно,
А совсем никак нельзя.
Расцветают лопухи,
Поют птицы петухи.

Балагуря таким образом, Ванька-Встанька просиживал в залах заведения целые вечера и ночи. И по какому-то странному душевному сочувствию девицы считали его почти своим; иногда оказывали ему маленькие временные услуги и даже покупали ему на свой счет пиво и водку.

Через некоторое время после Ваньки-Встаньки ввалилась большая компания парикмахеров, которые в этот день были свободны от работ. Они были шумны, веселы, но даже и здесь, в публичном доме, не прекращали своих мелочных счетов и разговоров об открытых и закрытых бенефисах, о хозяевах, о женах хозяев. Все это были люди в достаточной степени развращенные, лгуны, с большими надеждами на будущее, вроде, например, поступления на содержание к какой-нибудь графине. Они хотели как можно шире использовать свой довольно тяжелый заработок и потому решили сделать ревизию положительно во всех домах Ямы, только к Треппелю не решились зайти, так как там было слишком для них шикарно. Но у Анны Марковны они сейчас же заказали себе кадриль и плясали ее, особенно пятую фигуру, где кавалеры выделывают соло, совершенно как настоящие парижане, даже заложив большие пальцы в проймы жилетов. Но остаться с девицами они не захотели, а обещали прийти потом, когда закончат всю ревизию публичных домов.

И еще приходили и уходили какие-то чиновники, курчавые молодые люди в лакированных сапогах, несколько студентов, несколько офицеров, которые страшно боялись уронить свое достоинство в глазах владетельницы и гостей публичного дома. Понемногу в зале создалась такая шумная, чадная обстановка, что никто уже там не чувствовал неловкости. Пришел постоянный гость, любовник Соньки Руль, который приходил почти ежедневно и целыми часами сидел около своей возлюбленной, глядел на нее томными восточными глазами, вздыхал, млел и делал ей сцены за то, что она живет в публичном доме, что грешит против субботы, что ест трефное мясо и что отбилась от семьи и великой еврейской церкви.

По обыкновению, – а это часто случалось, – экономка Зося подходила к нему под шумок и говорило кривя губы:

– Ну, что вы так сидите, господин? Зад себе греете? Шли бы заниматься с девочкой.

Оба они, еврей и еврейка, были родом из Гомеля и, должно быть, были созданы самим богом для нежной, страстной, взаимной любви, но многие обстоятельства, как, например, погром, происшедший в их городе, обеднение, полная растерянность, испуг, на время разлучили их. Однако любовь была настолько велика, что аптекарский ученик Нейман с большим трудом, усилиями я унижениями сумел найти себе место ученика в одной из местных аптек и разыскал любимую девушку. Он был настоящим правоверным, почти фанатическим евреем. Он знал, что Сонька была продана одному из скупщиков живого товара ее же матерью, знал много унизительных, безобразных подробностей о том, как ее перепродавали из рук в руки, и его набожная, брезгливая, истинно еврейская душа корчилась и содрогалась при этих мыслях, но тем не менее любовь была выше всего. И каждый вечер он появлялся в зале Анны Марковны. Если ему удавалось с громадным лишением вырезать из своего нищенского дохода какой-нибудь случайный рубль, он брал Соньку в ее комнату, но это вовсе не бывало радостью ни для него, ни для нее: после мгновенного счастья – физического обладания друг другом – они плакали, укоряли друг друга, ссорились с характерными еврейскими театральными жестами, и всегда после этих визитов Сонька Руль возвращалась в залу с набрякшими, покрасневшими веками глаз.

Но чаще всего у него не было денег, и он просиживал около своей любовницы целыми вечерами, терпеливо и ревниво дожидаясь ее, когда Соньку случайно брал гость. И когда она возвращалась обратно и садилась с ним рядом, то он незаметно, стараясь не обращать на себя общего внимания и не поворачивая головы в ее сторону, все время осыпал ее упреками. И в ее прекрасных, влажных, еврейских глазах всегда во время этих разговоров было мученическое, но кроткое выражение.

Приехала большая компания немцев, служащих в оптическом магазине, приехала партия приказчиков из рыбного и гастрономического магазина Керешковского, приехали двое очень известных на Ямках молодых людей, – оба лысые, с редкими, мягкими, нежными волосами вокруг лысин – Колька-бухгалтер и Мишка-певец, так называли в домах их обоих. Их так же, как Карла Карловича из оптического магазина и Володьку из рыбного, встречали очень радушно, с восторгами, криками и поцелуями, льстя их самолюбию. Шустрая Нюрка выскакивала в переднюю и, осведомившись, кто пришел, докладывала возбужденно, по своему обыкновению:

– Женька, твой муж пришел!

или:

– Манька Маленькая, твой любовник пришел!

И Мишка-певец, который вовсе не был певцом, а владельцем аптекарского склада, сейчас же, как вошел, запел вибрирующим, пресекающимся, козлиным голосом:

Чу-у-уют пра-а-а-а-авду!
Ты ж заря-я-я-я…

что он проделывал в каждое свое посещение Анны Марковны.

Почти беспрерывно играли кадриль, вальс, польку и танцевали. Приехал и Сенька – любовник Тамары – но, против обыкновения, он не важничал, «не разорялся», не заказывал Исай Саввичу траурного марша и не угощал шоколадом девиц… Почему-то он был сумрачен, хромал на правую ногу и старался как можно меньше обращать на себя внимание: должно быть, его профессиональные дела находились в это время в плохом обороте. Он одним движением головы, на ходу, вызвал Тамару из зала и исчез с ней в ее комнате. Приехал также и актер Эгмонт-Лаврецкий, бритый, высокий, похожий на придворного лакея своим вульгарным и нагло-презрительным лицом.

Приказчики из гастрономического магазина танцевали со всем усердием молодости и со всей чинностью, которую рекомендует самоучитель хороших нравов Германа Гоппе. В этом смысле и девицы отвечали их намерениям. У тех и у других считалось особенно приличным и светским танцевать как можно неподвижнее, держа руки опущенными вниз и головы поднятыми вверх и склоненными, с некоторым гордым и в то же время утомленным и расслабленным видом. В антрактах, между фигурами, нужно было со скучающим и небрежным видом обмахиваться платками… Словом, все они делали вид, будто принадлежат к самому изысканному обществу, и если танцуют, то делают это, только снисходя до маленькой товарищеской услуги. Но все-таки танцевали так усердно, что с приказчиков Керешковского пот катился ручьями.

Случилось уже два-три скандала в разных домах. Какой-то человек, весь окровавленный, у которого лицо, при бледном свете лунного серпа, казалось от крови черным, бегал по улице, ругался и, нисколько не обращая внимания на свои раны, искал шапку, потерянную в драке. На Малой Ямской подрались штабные писаря с матросской командой. Усталые таперы и музыканты играли как в бреду, сквозь сон, по механической привычке. Это было на исходе ночи. Совершенно неожиданно в заведение Анны Марковны вошло семеро студентов, приват-доцент и местный репортер.

VIII

Все они, кроме репортера, провели целый день, с самого утра, вместе, справляя маевку со знакомыми барышнями. Катались на лодках по Днепру, варили на той стороне реки, в густом горько-пахучем лозняке, полевую кашу, купались мужчины и женщины поочередно – в быстрой теплой воде, пили домашнюю запеканку, пели звучные малороссийские песни и вернулись в город только поздним вечером, когда темная бегучая широкая река так жутко и весело плескалась о борта их лодок, играя отражениями звезд, серебряными зыбкими дорожками от электрических фонарей и кланяющимися огнями баканов. И когда вышли на берег, то у каждого горели ладони от весел, приятно ныли мускулы рук и ног, и во всем теле была блаженная бодрая усталость.

Потом они проводили барышень по домам и у калиток и подъездов прощались с ними долго и сердечно со смехом и такими размашистыми рукопожатиями, как будто бы действовали рычагом насоса.

Весь день прошел весело и шумно, даже немного крикливо и чуть-чуть утомительно, но по-юношески целомудренно, не пьяно и, что особенно редко случается, без малейшей тени взаимных обид или ревности, или невысказанных огорчений. Конечно, такому благодушному настроению помогало солнце, свежий речной ветерок, сладкие дыхания трав и воды, радостное ощущение крепости и ловкости собственного тела при купании и гребле и сдерживающее влияние умных, ласковых, чистых и красивых девушек из знакомых семейств.

Но, почти помимо их сознания, их чувственность – не воображение, а простая, здоровая, инстинктивная чувственность молодых игривых самцов – зажигалась от Нечаянных встреч их рук с женскими руками и от товарищеских услужливых объятий, когда приходилось помогать барышням входить в лодку или выскакивать на берег, от нежного запаха девичьих одежд, разогретых солнцем, от женских кокетливо-испуганных криков на реке, от зрелища женских фигур, небрежно полулежащих с наивной нескромностью в зеленой траве, вокруг самовара, от всех этих невинных вольностей, которые так обычны и неизбежны на пикниках, загородных прогулках и речных катаниях, когда в человеке, в бесконечной глубине его души, тайно пробуждается от беспечного соприкосновения с землей, травами, водой и солнцем древний, прекрасный, свободный, но обезображенный и напуганный людьми зверь.

И потому в два часа ночи, едва только закрылся уютный студенческий ресторан «Воробьи» и все восьмеро, возбужденные алкоголем и обильной пищей, вышли из прокуренного, чадного подземелья наверх, на улицу, в сладостную, тревожную темноту ночи, с ее манящими огнями на небе и на земле, с ее теплым, хмельным воздухом, от которого жадно расширяются ноздри, с ее ароматами, скользившими из невидимых садов и цветников, то у каждого из них пылала голова и сердце тихо и томно таяло от неясных желаний. Весело и гордо было ощущать после отдыха новую, свежую силу во всех мышцах, глубокое дыхание легких, красную упругую кровь в жилах, гибкую послушность всех членов. И – без слов, без мыслей, без сознания – влекло в эту ночь бежать без одежд по сонному лесу, обнюхивать торопливо следы чьих-то ног в росистой траве, громким кличем призывать к себе самку.

Но расстаться было теперь очень трудно. Целый день, проведенный вместе, сбил всех в привычное, цепкое стадо. Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то нарушится какое-то наладившееся равновесие, которое потом невозможно будет восстановить. И потому они медлили и топтались на тротуаре, около выхода из трактирного подземелья, мешая движению редких прохожих. Обсуждали лицемерно, куда бы еще поехать, чтоб доконать ночь. В сад Тиволи оказывалось очень далеко, да к тому же еще за входные билеты платить, и цены в буфете возмутительные, и программа давно окончилась. Володя Павлов предлагал ехать к нему: у него есть дома дюжина пива и немного коньяку. Но всем показалось скучным идти

среди ночи на семейную квартиру, входить на цыпочках по лестнице и говорить все время шепотом.

– Вот что, брательники… Поедемте-ка лучше к девочкам, это будет вернее, – сказал решительно старый студент Лихонин, высокий, сутуловатый, хмурый и бородатый малый. По убеждениям он был анархист-теоретик, а по призванию – страстный игрок на бильярде, на бегах и в карты, – игрок с очень широким, фатальным размахом. Только накануне он выиграл в купеческом клубе около тысячи рублей в макао, и эти деньги еще жгли ему руки.

– А что ж? И верно, – поддержал кто-то. – Айда, товарищи?!

– Стоит ли? Ведь это на всю ночь заводиловка… – с фальшивым благоразумием и неискренней усталостью отозвался другой.

А третий сказал сквозь притворный зевок:

– Поедемте лучше, господа, по домам… а-а-а… спатиньки… Довольно на сегодня.

– Во сне шубы не сошьешь, – презрительно заметил Лихонин. – Герр профессор, вы едете?

Но приват-доцент Ярченко уперся и казался по-настоящему рассерженным, хотя, быть может, он и сам не знал, что пряталось у него в каком-нибудь темном закоулке души

– Оставь меня в покое, Лихонин. По-моему, господа, это прямое и явное свинство – то, что вы собираетесь сделать. Кажется, так чудесно, мило и просто провели время,так нет, вам непременно надо, как пьяным скотам, полезть в помойную яму. Не поеду я.

– Однако, если мне не изменяет память, – со спокойной язвительностью сказал Лихонин, – припоминаю, что не далее как прошлой осенью мы с одним будущим Моммсеном лили где-то крюшон со льдом в фортепиано, изображали бурятского бога, плясали танец живота и все такое прочее?..

Лихонин говорил правду. В свои студенческие годы и позднее, будучи оставленным при университете, Ярченко вел самую шалую и легкомысленную жизнь. Во всех трактирах, кафе-шантанах и других увеселительных местах хорошо знали его маленькую, толстую, кругленькую фигурку, его румяные, отдувшиеся, как у раскрашенного амура, щеки и блестящие, влажные, добрые глаза, помнили его торопливый, захлебывающийся говор и визгливый смех.

Товарищи никогда не могли постигнуть, где он находил время для занятий наукой, но тем не менее все экзамены и очередные работы он сдавал отлично и с первого курса был на виду у профессоров. Теперь Ярченко начинал понемногу отходить от прежних товарищей и собутыльников. У него только что завелись необходимые связи с профессорским кругом, на будущий год ему предлагали чтение лекций по римской истории, и нередко в разговоре он уже употреблял ходкое среди приват-доцентов выражение: «Мы, ученые!» Студенческая фамильярность, принудительное компанейство, обязательное участие во всех сходках, протестах и демонстрациях становились для него невыгодными, затруднительными и даже просто скучными. Но он знал цену популярности среди молодежи и потому не решался круто разорвать с прежним кружком. Слова Лихонина, однако, задели его.

– Ах, боже мой, мало ли что мы делали, когда были мальчишками? Воровали сахар, пачкали штанишки, отрывали жукам крылья, – заговорил Ярченко, горячась и захлебываясь. – Но всему есть предел и мера. Я вам, господа, не смею, конечно, подавать советов и учить вас, но надо быть последовательными. Все мы согласны, что проституция – одно из величайших бедствий человечества, а также согласны, что в этом зле виноваты не женщины, а мы, мужчины, потому что спрос родит предложение. И, стало быть, если, выпив лишнюю рюмку вина, я все-таки, несмотря на свои убеждения, еду к проституткам, то я совершаю тройную подлость: перед несчастной глупой женщиной, которую я подвергаю за свой поганый рубль самой унизительной форме рабства, перед человечеством, потому что, нанимая на час или на два публичную женщину для своей скверной похоти, я этим оправдываю и поддерживаю проституцию, и, наконец, это подлость перед своей собственной совестью и мыслью. И перед логикой.

– Фью-ю! – свистнул протяжно Лихонин и проскандировал унылым тоном, кивая в такт опущенной набок головой. – Понес философ наш обычный вздор: веревка вервие простое.

– Конечно, нет ничего легче, как паясничать, – сухо отозвался Ярченко. – А по-моему, нет в печальной русской жизни более печального явления, чем эта расхлябанность и растленность мысли. Сегодня мы скажем себе: «Э! Все равно, поеду я в публичный дом или не поеду – от одного р»за дело не ухудшится, не улучшится». А через пять лет мы будем говорить: «Несомненно, взятка – страшная гадость, но, знаете, дети… семья…» И точно так же через десять лет мы, оставшись благополучными русскими либералами, будем вздыхать о свободе личности и кланяться в пояс мерзавцам, которых презираем, и околачиваться у них в передних. «Потому что, знаете ли, – скажем мы, хихикая, – с волками жить, по-волчьи выть». Ей-богу, недаром какой-то министр назвал русских студентов будущими столоначальниками!

– Или профессорами, – вставил Лихонин.

– Но самое главное, – продолжал Ярченко, пропустив мимо ушей эту шпильку, – самое главное то, что я вас всех видел сегодня на реке и потом там… на том берегу… с этими милыми, славными девушками. Какие вы все были внимательные, порядочные, услужливые, но едва только вы простились с ними, вас уже тянет к публичным женщинам. Пускай каждый из вас представит себе на минутку, что все мы были в гостях у его сестер и прямо от них поехали в Яму… Что? Приятно такое предположение?

– Да, но должны же существовать какие-нибудь клапаны для общественных страстей? – важно заметил Борис Собашников, высокий, немного надменный и манерный молодой человек, которому короткий китель, едва прикрывавший толстый зад, модные, кавалерийского фасона брюки, пенсне на широкой черной ленте и фуражка прусского образца придавали фатоватый вид. – Неужели порядочнее пользоваться ласками своей горничной или вести за углом интригу с чужой женой? Что я могу поделать, если мне необходима женщина!

– Эх, очень обходима! – досадливо сказал Ярченко и слабо махнул рукой.

Но тут вмешался студент, которого в товарищеском кружке звали Рамзесом. Это был изжелта-смуглый горбоносый человек маленького роста; бритое лицо его казалось треугольным благодаря широкому, начинавшему лысеть двумя взлысинами лбу, впалым щекам и острому подбородку. Он вел довольно странный для студента образ жизни. В то время, когда его коллеги занимались вперемежку политикой, любовью, театром и немножко наукой, Рамзес весь ушел в изучение всевозможных гражданских исков и претензий, в крючкотворные тонкости имущественных. семейных, земельных и иных деловых процессов, в запоминание и логический разбор кассационных решений. Совершенно добровольно, ничуть не нуждаясь в деньгах, он прослужил один год клерком у нотариуса, другой – письмоводителем у мирового судьи, а весь прошлый год, будучи на последнем курсе, вел в местной газете хронику городской управы и нес скромную обязанность помощника секретаря в управлении синдиката сахарозаводчиков. И когда этот самый синдикат затеял известный процесс против одного из своих членов, полковника Баскакова, пустившего в продажу против договора избыток сахара, то Рамзес в самом начале предугадал и очень тонко мотивировал именно то решение, которое вынес впоследствии по этому делу сенат.

Несмотря на его сравнительную молодость, к его мнениям прислушивались, – правда, немного свысока, – довольно известные юристы. Никто из близко знавших Рамзеса не сомневался, что он сделает блестящую карьеру, да и сам Рамзес вовсе не скрывал своей уверенности в том, что к тридцати пяти годам он сколотит себе миллион исключительно одной практикой, как адвокат-цивилист. Его нередко выбирали товарищи в председатели сходок и в курсовые старосты, но от этой чести Рамзес неизменно уклонялся, отговариваясь недостатком времени. Однако он не избегал участия в товарищеских третейских судах, и его доводы – всегда неотразимо логичные – обладали удивительным свойством оканчивать дела миром, к обоюдному удовольствию судящихся сторон. Он так же, как и Ярченко, знал хорошо цену популярности среди

учащейся молодежи, и если даже поглядывал на людей с некоторым презрением, свысока, то никогда, ни одним движением своих тонких, умных, энергичных губ этого не показывал.

– Никто вас и не тянет, Гаврила Петрович, непременно совершать грехопадение, – сказал Рамзес примирительно. – К чему этот пафос и эта меланхолия, когда дело обстоит совсем просто? Компания молодых русских джентльменов хочет скромно и дружно провести остаток ночи, повеселиться, попеть и принять внутрь несколько галлонов вина и пива. Но все теперь закрыто, кроме этих самых домов. Ergo!..[2]

– Следовательно, поедем веселиться к продажным женщинам? К проституткам? В публичный дом? – насмешливо и враждебно перебил его Ярченко.

– А хотя бы? Одного философа, желая его унизит! посадили за обедом куда-то около музыкантов. А он, садясь, сказал: «Вот верное средство сделать последнее место первым». И, наконец, я повторяю: если ваша совесть не позволяет вам, как вы выражаетесь, покупать женщин, то вы можете приехать туда и уехать, сохраняя свою невинность во всей ее цветущей неприкосновенности.

– Вы передергиваете, Рамзес, – возразил с неудовольствием Ярченко. – Вы мне напоминаете тех мещан, которые еще затемно собрались глазеть на смертную казнь, говорят: мы здесь ни при чем, мы против смертной казни, это все прокурор и палач.

– Пышно сказано и отчасти верно, Гаврила Петрович. Но именно к нам это сравнение может и не относится. Нельзя, видите ли, лечить какую-нибудь тяжкую болезнь заочно, не видавши самого больного. А ведь все мы, которые сейчас здесь стоим на улице и мешаем прохожим, должны будем когда-нибудь в своей деятельности столкнуться с ужасным вопросом о проституции, да еще какой проституции – русской! Лихонин, я, Боря Собашников и Павлов – как юристы, Петровский и Толпыгин – как медики. Правда у Вельтмана особенная специальность – математика. Но ведь будет же он педагогом, руководителем юношества и, черт побери, даже отцом! А уж если пугать букой, то лучше всего самому на нее прежде посмотреть. Наконец и вы сами, Гаврила Петрович, – знаток мертвых языков и будущее светило гробокопательства, – разве для вас не важно и не поучительно сравнение хотя бы современных публичных домов с каким-нибудь помпейскими лупанарами или с институтом священной проституции в Фивах и в Ниневии?..

– Браво, Рамзес, великолепно! – взревел Лихонин. – И что тут долго толковать, ребята? Берите профессора под жабры и сажайте на извозчика!

Студенты, смеясь и толкаясь, обступили Ярченко, схватили его под руки, обхватили за талию. Всех их одинаково тянуло к женщинам, но ни у кого, кроме Лихонина, не хватало смелости взять на себя почин. Но теперь все это сложное, неприятное и лицемерное дело счастливо свелось к простой, легкой шутке над старшим товарищем. Ярченко и упирался, и сердился, и смеялся, стараясь вырваться. Но в это время к возившимся студентам подошел рослый черноусый городовой, который уже давно глядел на них зорко и неприязненно.

– Господа стюденты, прошу не скопляться. Невозможно! Проходите, куда ишли.

Они двинулись гурьбою вперед. Ярченко начинал понемногу смягчаться.

– Господа, я, пожалуй, готов с вами поехать… Не подумайте, однако, что меня убедили софизмы египетского фараона Рамзеса… Нет, просто мне жаль разбивать компанию… Но я ставлю одно условие: мы там выпьем, поврем, посмеемся и все прочее… но чтобы ничего больше, никакой грязи… Стыдно и обидно думать, что мы, цвет и краса русской интеллигенции, раскиснем и пустим слюни от вида первой попавшейся юбки.

– Клянусь! – сказал Лихонин, поднимая вверх руку.

– Я за себя ручаюсь, – сказал Рамзес.

– И я! И я! Ей-богу, господа, дадимте слово… Ярченко прав, – подхватили другие.

---

[2] Следовательно!.. (*лат.*)

Они расселись по двое и по трое на извозчиков, которые уже давно, зубоскаля и переругиваясь, вереницей следовали за ними, и поехали. Лихонин для верности сам сел рядом с приват-доцентом, обняв его за талию, а на колени к себе и соседу посадил маленького Толпыгина, розового миловидного мальчика, у которого, несмотря на его двадцать три года, еще белел на щеках детский – мягкий и светлый – пух.

– Станция у Дорошенки! – крикнул Лихонин вслед отъезжавшим извозчикам. – У Дорошенки остановка, – повторил он, обернувшись назад.

У ресторана Дорошенки все остановились, вошли в общую залу и столпились около стойки. Все были сыты, и никому не хотелось ни пить, ни закусывать. Но у каждого оставался еще в душе темный след сознания, что вот сейчас они собираются сделать нечто ненужно-позорное, собираются принять участие в каком-то судорожном, искусственном и вовсе не веселом веселье. И у каждого было стремление довести себя через опьянение до того туманного и радужного состояния, когда всё – все равно и когда голова не знает, что делают руки и ноги и что болтает язык. И, должно быть, не одни студенты, а все случайные и постоянные посетители Ямы испытывали в большей или меньшей степени трение этой внутренней душевной занозы, потому что Дорошенко торговал исключительно только поздним вечером и ночью, и никто у него не засиживался, а так только заезжали мимоходом, на перепутье.

Пока студенты пили коньяк, пиво и водку, Рамзес все приглядывался к самому дальнему углу ресторанного зала, где сидели двое: лохматый, седой крупный старик и против него, спиной к стойке, раздвинув по столу локти и опершись подбородком на сложенные друг на друга кулаки, сгорбился какой-то плотный, низко остриженный господин в сером костюме. Старик перебирал струны лежавших перед ним гуслей и тихо напевал сиплым, но приятным голосом:

Долина моя, долинушка,
Раздолье широ-о-о-окое.

– Позвольте-ка, ведь это наш сотрудник, – сказал Рамзес и пошел здороваться с господином в сером костюме. Через минуту он подвел его к стойке и познакомил с товарищами.

– Господа, позвольте вам представить моего соратника по газетному делу. Сергей Иванович Платонов. Самый ленивый и самый талантливый из газетных работников.

Все перезнакомились с ним, невнятно пробурчав свои фамилии.

– И поэтому выпьем, – сказал Лихонин.

Ярченко же спросил с утонченной любезностью, которая никогда его не покидала:

– Позвольте, позвольте, ведь я же с вами немного знаком, хотя и заочно. Не вы ли были в университете, когда профессор Приклонский защищал докторскую диссертацию?

– Я, – ответил репортер.

– Ах, это очень приятно, – мило улыбнулся Ярченко и для чего-то еще раз крепко пожал Платонову руку. – Я читал потом ваш отчет: очень точно, обстоятельно и ловко составлено… Не будете ли добры?.. За ваше здоровье!

– Тогда позвольте и мне, – сказал Платонов. – Онуфрий Захарыч, налейте нам еще… раз, два, три, четыре… девять рюмок коньяку…

– Нет, уж так нельзя… вы – наш гость, коллега, – возразил Лихонин.

– Ну, какой же я ваш коллега, – добродушно засмеялся репортер. – Я был только на первом курсе и то только полгода, вольнослушателем. Получите, Онуфрий Захарыч. Господа, прошу…

Кончилось тем, что через полчаса Лихонин и Ярченко ни за что не хотели расстаться с репортером и потащили его с собой в Яму. Впрочем, он и не сопротивлялся.

– Если я вам не в тягость, я буду очень рад, – сказал он просто. – Тем более что у меня сегодня сумасшедшие деньги. «Днепровское слово» заплатило мне гонорар, а это такое же чудо, как выиграть двести тысяч на билет от театральной вешалки. Виноват, я сейчас…

Он подошел к старику, с которым раньше сидел, сунул ему в руку какие-то деньги и ласково попрощался с ним.

– Куда я еду, дедушка, туда тебе ехать нельзя, завтра опять там же встретимся, где и сегодня. Прощай!

Все вышли из ресторана. В дверях Боря Собашников, всегда немного фатоватый и без нужды высокомерный, остановил Лихонина и отозвал его в сторону.

– Удивляюсь я тебе, Лихонин, – сказал он брезгливо. – Мы собрались своей тесной компанией, а тебе непременно нужно было затащить какого-то бродягу. Черт его знает, кто он такой!

– Оставь, Боря, – дружелюбно ответил Лихонин. – Он парень теплый.

IX

– Ну, уж это, господа, свинство! – говорил ворчливо Ярченко на подъезде заведения Анны Марковны. – Если уж поехали, то по крайности надо было ехать в приличный, а не в какую-то трущобу. Право, господа, пойдемте лучше рядом, к Треппелю, там хоть чисто и светло.

– Пожалуйте, пожалуйте, синьор, – настаивал Лихонин, отворяя с придворной учтивостью дверь перед приват-доцентом, кланяясь и простирая вперед руку. – Пожалуйте.

– Да ведь мерзость… У Треппеля хоть женщины покрасивее.

Рамзес, шедший сзади, сухо рассмеялся.

– Так, так, так, Гаврила Петрович. Будем продолжать в том же духе. Осудим голодного воришку, который украл с лотка пятачковую булку, но если директор банка растратил чужой миллион на рысаков и сигары, то смягчим его участь. – Простите, не понимаю этого сравнения, – сдержанно ответил Ярченко. – Да по мне все равно; идемте.

– И тем более, – сказал Лихонин, пропуская вперед приват-доцента, – тем более что этот дом хранит в себе столько исторических преданий. Товарищи! Десятки студенческих поколений смотрят на нас с высоты этих вешалок, и, кроме того, в силу обычного права, дети и учащиеся здесь платят половину, как в паноптикуме. Не так ли, гражданин Симеон?

Симеон не любил, когда приходили большими компаниями, – это всегда пахло скандалом в недалеком будущем; студентов же он вообще презирал за их мало понятный ему язык, за склонность к легкомысленным шуткам, за безбожие и, главное – за то, что они постоянно бунтуют против начальства и порядка. Недаром же в тот день, когда на Бессарабской площади казаки, мясоторговцы, мучники и рыбники избивали студентов, Симеон, едва узнав об этом, вскочил на проезжавшего лихача и, стоя, точно полицеймейстер, в пролетке, помчался на место драки, чтобы принять в ней участие. Уважал он людей солидных, толстых и пожилых, которые приходили в одиночку, по секрету, заглядывали опасливо из передней в залу, боясь встретиться со знакомыми, и очень скоро и торопливо уходили, щедро давая на чай. Таких он всегда величал «ваше превосходительство».

И потому, снимая легкое серое пальто с Ярченко, он мрачно и многозначительно огрызнулся на шутку Лихонина:

– Я здесь не гражданин, а вышибала.

– С чем имею честь поздравить, – с вежливым поклоном ответил Лихонин.

В зале было много народу. Оттанцевавшие приказчики сидели около своих дам, красные и мокрые, быстро обмахиваясь платками; от них крепко пахло старой козлиной шерстью. Мишка-певец и его друг бухгалтер, оба лысые, с мягкими, пушистыми волосами вокруг обнаженных черепов, оба с мутными, перламутровыми, пьяными глазами, сидели друг против друга, облокотившись на мраморный столик, и все покушались запеть в унисон такими дрожащими и скачущими голосами, как будто бы кто-то часто-часто колотил их сзади по шейным позвонкам:

Чу-у-уют пра-а-в-ду,

а Эмма Эдуардовна и Зося изо всех сил уговаривали их не безобразничать. Ванька-Встанька мирно дремал на стуле, свесив вниз голову, положив одну длинную ногу на другую и обхватив сцепленными руками острое колено.

Девицы сейчас же узнали некоторых из студентов и побежали им навстречу.

– Тамарочка, твой муж пришел – Володенька. И мой муж тоже! Мишка! – взвизгнула Нюра, вешаясь на шею длинному, носастому, серьезному Петровскому. – Здравствуй, Мишенька. Что так долго не приходил? Я за тобой соскучилась.

Ярченко с чувством неловкости озирался по сторонам.

– Нам бы как-нибудь… Знаете ли… отдельный кабинетик, – деликатно сказал он подошедшей Эмме Эдуардовне. – И дайте, пожалуйста, какого-нибудь красного вина… Ну там еще кофе… Вы сами знаете.

Ярченко всегда внушал прислуге и метрдотелям доверие своей щегольской одеждой и вежливым, но барским обхождением. Эмма Эдуардовна охотно закивала головой, точно старая, жирная цирковая лошадь.

– Можно, можно… Пройдите, господа, сюда, в гостиную. Можно, можно… Какого ликеру? У нас только бенедиктин. Так бенедиктину? Можно, можно… И барышням позволите войти?

– Если уж это так необходимо? – развел руками со вздохом Ярченко.

И тотчас же девушки одна за другой потянулись в маленькую гостиную с серой плюшевой мебелью и голубым фонарем. Они входили, протягивали всем поочередно непривычные к рукопожатиям, негнущиеся ладони, называли коротко, вполголоса, свое имя: Маня, Катя, Люба… Садились к кому-нибудь на колени, обнимали за шею и, по обыкновению, начинали клянчить:

– Студентик, вы такой красивенький… Можно мне спросить апельцынов?

– Володенька, купи мне конфет! Хорошо?

– А мне шоколаду.

– Толстенький! – ластилась одетая жокеем Вера к приват-доценту, карабкаясь к нему на колени, – у меня есть подруга одна, только она больная и не может выходить в залу. Я ей снесу яблок и шоколаду? Позволяешь?

– Ну уж это выдумки про подругу! А главное, не лезь ты ко мне со своими нежностями. Сиди, как сидят умные дети, вот здесь, рядышком на кресле, вот так. И ручки сложи!

– Ах, когда я не могу!.. – извивалась от кокетства Вера, закатывая глаза под верхние веки. – Когда вы такие симпатичные.

А Лихонин на это профессиональное попрошайничество только важно и добродушно кивал головой, точно Эмма Эдуардовна, и твердил, подражая ее немецкому акценту:

– Мощно, мощно, мощно…

– Так я скажу, дуся, лакею, чтобы он отнес моей подруге сладкого и яблок? – приставала Вера.

Такая навязчивость входила в круг их негласных обязанностей. Между девушками существовало даже какое-то вздорное, детское, странное соревнование в умении «высадить гостя из денег», – странное потому, что они не получали от этого никакого барыша, кроме разве некоторого благоволения экономки или одобрительного слова хозяйки. Но в их мелочной, однообразной, привычно-праздной жизни было вообще много полуребяческой, полуистерической игры.

Симеон принес кофейник, чашки, приземистую бутылку бенедиктина, фрукты и конфеты в стеклянных вазах и весело и легко захлопал пивными и винными пробками.

– А вы что же не пьете? – обратился Ярченко к репортеру Платонову. – Позвольте… Я не ошибаюсь? Сергей Иванович, кажется?

– Так.

– Позвольте предложить вам, Сергей Иванович, чашку кофе. Это освежает. Или, может быть, выпьем с вами вот этого сомнительного лафита?

– Нет, уж вы разрешите мне отказаться. У меня свой напиток… Симеон, дайте мне…

– Коньяку! – поспешно крикнула Нюра.

– И с грушей! – так же быстро подхватила Манька Беленькая.

– Слушаю, Сергей Иванович, сейчас, – неторопливо, но почтительно отозвался Симеон и, нагнувшись и крякнув, звонко вырвал пробку из бутылочного горла.

– В первый раз слышу, что в Яме подают коньяк! – с удивлением произнес Лихонин. – Сколько я ни спрашивал, мне всегда отказывали.

– Может быть, Сергей Иваныч знает такое петушиное слово? – пошутил Рамзес.

– Или состоит здесь на каком-нибудь особом почетном положении? – колко, с подчеркиванием вставил Борис Собашников.

Репортер вяло, не поворачивая головы, покосился на Собашникова, на нижний ряд пуговиц его короткого франтовского кителя, и ответил с растяжкой:

– Ничего нет почетного в том, что я могу пить как лошадь и никогда не пьянею, но зато я ни с кем и не ссорюсь и никого не задираю. Очевидно, эти хорошие стороны моего характера здесь достаточно известны, а потому мне оказывают доверие.

– Ах, молодчинище! – радостно воскликнул Лихонин, которого восхищала в репортере какая-то особенная, ленивая, немногословная и в то же время самоуверенная небрежность. – Вы и со мной поделитесь коньяком?

– Очень, очень рад, – приветливо ответил Платонов и вдруг поглядел на Лихонина со светлой, почти детской улыбкой, которая скрасила его некрасивое, скуластое лицо. – Вы мне тоже сразу понравились. И когда я увидел вас еще там, у Дорошенки, я сейчас же подумал, что вы вовсе не такой шершавый, каким кажетесь.

– Ну вот и обменялись любезностями, – засмеялся Лихонин. – Но удивительно, что мы именно здесь ни разу с вами не встречались. По-видимому, вы таки частенько бываете у Анны Марковны?

– Даже весьма.

– Сергей Иваныч у нас самый главный гость! – наивно взвизгнула Нюра. – Сергей Иваныч у нас вроде брата!

– Дура! – остановила ее Тамара.

– Это мне странно, – продолжал Лихонин. – Я тоже завсегдатай. Во всяком случае, можно только позавидовать общей к вам симпатии.

– Местный староста! – сказал, скривив сверху вниз губы, Борис Собашников, но сказал настолько вполголоса, что Платонов, если бы захотел, мог бы притвориться, что он ничего не расслышал. Этот репортер давно уже возбуждал в Борисе какое-то слепое и колючее раздражение. Это еще ничего, что он был не из своего стада. Но Борис, подобно многим студентам (а также и офицерам, юнкерам и гимназистам), привык к тому, что посторонние «штатские» люди, попадавшие случайно в кутящую студенческую компанию, всегда держали себя в ней несколько зависимо и подобострастно, льстили учащейся молодежи, удивлялись ее смелости, смеялись ее шуткам, любовались ее самолюбованием, вспоминали со вздохом подавленной зависти свои студенческие годы. А в Платонове не только не было этого привычного виляния хвостом перед молодежью, но, наоборот, чувствовалось какое-то рассеянное, спокойное и вежливое равнодушие.

Кроме того, сердило Собашникова – и сердило мелкой ревнивой досадой – то простое и вместе предупредительное внимание, которое репортеру оказывали в заведении все, начиная со швейцара и кончая мясистой, молчаливой Катей. Это внимание сказывалось в том, как его слушали, в той торжественной бережности, с которой Тамара наливала ему рюмку, и в том, как Манька Беленькая заботливо чистила для него грушу, и в удовольствии Зои, поймавшей ловко брошенный ей репортером через стол портсигар, в то время как она напрасно просила папиросу у двух заговорившихся соседей, и в том, что ни одна из девиц не выпрашивала у него ни шоколаду, ни фруктов, и в их живой благодарности за его маленькие услуги и угощение.

«Кот!» – злобно решил было про себя Собашников, но и сам себе не поверил: уж очень был некрасив и небрежно одет репортер и, кроме того, держал себя с большим достоинством.

Платонов опять сделал вид, что не расслышал дерзости, сказанной студентом. Он только нервно скомкал в пальцах салфетку и слегка отшвырнул ее от себя. И опять его веки дрогнули в сторону Бориса Собашникова.

– Да, я здесь, правда, свой человек, – спокойно продолжал он, медленными кругами двигая рюмку по столу.Представьте себе: я в этом самом доме обедал изо дня в день ровно четыре месяца.

– Нет? Серьезно? – удивился и засмеялся Ярченко.

– Совсем серьезно. Тут очень недурно кормят, между прочим. Сытно и вкусно, хотя чересчур жирно.

– Но как же это вы?..

– А так, что я подготовлял дочку Анны Марковны, хозяйки этого гостеприимного дома, в гимназию. Ну и выговорил себе условие, чтобы часть месячной платы вычитали мне за обеды.

– Что за странная фантазия! – сказал Ярченко. – И это вы добровольно? Или… Простите, я боюсь показаться вам нескромным… может быть, в это время… крайняя нужда?..

– Вовсе нет. Анна Марковна с меня содрала раза в три дороже, чем это стоило бы в студенческой столовой. Просто мне хотелось пожить здесь поближе, потеснее, так сказать, войти интимно в этот мирок.

– А-а! Я, кажется, начинаю понимать! – просиял Ярченко. – Наш новый друг, – извините за маленькую фамильярность, – по-видимому, собирает бытовой материал? И, может быть, через несколько лет мы будем иметь удовольствие прочитать…

– Трррагедию из публичного дома! – вставил Громко, по-актерски, Борис Собашников.

В то время, когда репортер отвечал Ярченку, Тамара тихо встала со своего места, обошла стол и, нагнувшись над Собашниковым, сказала ему шепотом на ухо:

– Миленький, хорошенький, вы бы лучше этого господина не трогали. Ей-богу, для вас же будет лучше.

– Чтой-та? – высокомерно взглянул на нее студент, поправляя двумя расставленными пальцами пенсне. – Он твой любовник? Кот?

– Клянусь вам чем хотите, он ни разу в жизни ни с одной из нас не оставался. Но, повторяю, вы его не задирайте.

– Ну да! Ну конечно! – возразил Собашников, презрительно кривляясь. – У него такая прекрасная защита, как весь публичный дом. И, должно быть, все вышибалы с Ямской – его близкие друзья и приятели.

– Нет, не то, – возразила ласковым шепотом Тамара. – А то, что он возьмет вас за воротник и выбросит в окно, как щенка. Я такой воздушный полет однажды уже видела. Не дай бог никому. И стыдно, и опасно для здоровья.

– Пошла вон, сволочь! – крикнул Собашников, замахиваясь на нее локтем.

– Иду, миленький, – кротко ответила Тамара и отошла от него своей легкой походкой.

Все на мгновение обернулись к студенту.

– Не буянь, барбарис! – погрозил ему пальцем Лихонин. – Ну, ну, говорите, – попросил он репортера, – все это так интересно, что вы рассказываете.

– Нет, я ничего не собираю, – продолжал спокойно и серьезно репортер. – А материал здесь действительно огромный, прямо подавляющий, страшный… И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, о белых рабынях, о проституции, как о разъедающей язве больших городов, и так далее и так далее… старая, всем надоевшая шарманка! Нет, ужасны будничные, привычные мелочи, эти деловые, дневные, коммерческие расчеты, эта тысячелетняя наука любовного обхождения, этот прозаический обиход, устоявшийся веками. В этих незаметных пустяках совершенно растворяются такие чувства, как обида, унижение,

стыд. Остается сухая профессия, контракт, договор, почти что честная торговлишка, ни хуже, ни лучше какой-нибудь бакалейной торговли. Понимаете ли, господа, в этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса! Мещанские будни – и только. Да еще привкус закрытого учебного заведения с его наивностью, грубостью, сентиментальностью и подражательностью.

– Это верно, – подтвердил Лихонин, а репортер продолжал, глядя задумчиво в свою рюмку:

– Читаем мы в публицистике, в передовых статьях разные вопли суетливых душ. И женщины-врачи тоже стараются по этой части и стараются довольно противно. «Ах, регламентация! Ах, аболиционизм! Ах, живой товар! Крепостное положение! Хозяйки, эти жадные гетеры! Эти гнусные выродки человечества, сосущие кровь проституток!.. „ Но ведь криком никого не испугаешь и не проймешь. Знаете, есть поговорочка: визгу много, а шерсти мало. Страшнее всяких страшных слов, в сто раз страшнее, какой-нибудь этакий маленький прозаический штришок, который вас вдруг точно по лбу ошарашит. Возьмите хотя бы здешнего швейцара Симеона. Уж, кажется, по-вашему, ниже некуда спуститься: вышибала в публичном доме, зверь, почти наверно – убийца, обирает проституток, делает им „черный глаз“, по здешнему выражению, то есть просто-напросто бьет. А знаете ли, на чем мы с ним сошлись и подружились? На пышных подробностях архиерейского служения, на каноне честного Андрея, пастыря Критского, на творениях отца преблаженного Иоанна Дамаскина. Религиозен необычайно! Заведу его, бывало, и он со слезами на глазах поет мне: «Приидите, последнее целование дадимте, братие, усопшему…“ Из чина погребения мирских человек. Нет, вы подумайте: ведь только в одной русской душе могут ужиться такие противоречия!

– Да. Такой помолится-помолится, потом зарежет, а потом умоет руки и поставит свечу перед образом, – сказал Рамзес.

– Именно. Я ничего не знаю более жуткого, чем это соединение вполне искренней набожности с природным тяготением к преступлению. Признаться ли вам? Я, когда разговариваю один на один с Симеоном, – а говорим мы с ним подолгу и неторопливо так, часами, – я испытываю минутами настоящий страх. Суеверный страх! Точно вот я стою в сумерках на зыбкой дощечке, наклонившись над каким-то темным зловонным колодцем, и едва-едва различаю, как там, на дне, копошатся гады. А ведь он по-настоящему набожен и, я уверен, пойдет когда-нибудь в монахи и будет великим постником и молитвенником, и, черт его знает, каким уродливым образом переплетется в его душе настоящий религиозный экстаз с богохульством, с кощунством, с какой-нибудь отвратительной страстью, с садизмом или еще с чем-нибудь вроде этого?

– Однако вы не щадите объекта ваших наблюдений,сказал Ярченко и осторожно показал глазами на девиц.

– Э, все равно. У нас с ним теперь прохладные отношения.

– Почему так? – спросил Володя Павлов, поймавший конец разговора.

– Да так… не стоит и рассказывать… – уклончиво улыбнулся репортер. – Пустяк… Давайте-ка сюда вашу рюмку, господин Ярченко.

Но торопливая Нюра, у которой ничто не могло удержаться во рту, вдруг выпалила скороговоркой:

– Потому что Сергей Иваныч ему по морде дали… Из-за Нинки. К Нинке пришел один старик… И остался на ночь… А у Нинки был красный флаг… И старик все время ее мучил… А Нинка заплакала и убежала.

– Брось, Нюра, скучно, – сказал, сморщившись, Платонов.

– Одепне! (отстань) – строго приказала на жаргоне домов терпимости Тамара.

Но разбежавшуюся Нюру невозможно было остановить.

– А Нинка говорит: я, говорит, ни за что с ним не останусь, хоть режьте меня на куски… всю, говорит, меня слюнями обмочил. Ну старик, понятно, пожаловался швейцару, а швейцар,

понятно, давай Нинку бить. А Сергей Иваныч в это время писал мне письмо домой, в провинцию, и как услышал, что Нинка кричит…

– Зоя, зажми ей рот! – сказал Платонов.

– Так сейчас вскочил и… ап!.. – И Нюрин поток мгновенно прервался, заткнутый ладонью Зои.

Все засмеялись, только Борис Собашников под шумок пробормотал с презрительным видом:

– Oh, chevalier sans peur et sans reproche![3]

Он уже был довольно сильно пьян, стоял, прислонившись к стене, в вызывающей позе, с заложенными в карманы брюк руками, и нервно жевал папиросу.

– Это какая же Нинка? – спросил с любопытством Рамзес. – Она здесь?

– Нет, ее нету. Такая маленькая, курносая девчонка. Наивная и очень сердитая. – Репортер вдруг внезапно и искренно расхохотался. – Извините… это я так… своим мыслям, – объяснил он сквозь смех. – Я сейчас очень живо вспомнил этого старика, как он в испуге бежал по коридору, захватив верхнюю одежду и башмаки… Такой почтенный старец, с наружностью апостола, я даже знаю, где он служит. Да и вы все его знаете. Но всего курьезнее было, когда он, наконец, в зале почувствовал себя в безопасности. Понимаете: сидит на стуле, надевает панталоны, никак не попадет ногой, куда следует, и орет на весь дом: «Безобразие! Гнусный притон! Я вас выведу на чистую воду!.. Завтра же в двадцать четыре часа!.. « Знаете ли, это соединение жалкой беспомощности с грозными криками было так уморительно, что даже мрачный Симеон рассмеялся… Ну вот, кстати о Симеоне… Я говорю, что жизнь поражает, ставит в тупик своей диковинной путаницей и неразберихой. Можно насказать тысячу громких слов о сутенерах, а вот именно такого Симеона ни за что не придумаешь. Так разнообразна и пестра жизнь! Или еще возьмите здешнюю хозяйку Анну Марковну. Эта кровопийца, гиена, мегера и так далее… – самая нежная мать, какую только можно себе представить. У нее одна дочь… – Берта, она теперь в пятом классе гимназии. Если бы вы видели, сколько осторожного внимания, сколько нежной заботы затрачивает Анна Марковна, чтобы дочь не узнала как-нибудь случайно о ее профессии. И всё– для Берточки, всё – ради Берточки. И сама при ней не смеет даже разговаривать, боится за свой лексикон бандерши и бывшей проститутки, глядит ей в глаза, держит себя рабски, как старая прислуга, как глупая, преданная нянька, как старый, верный, опаршивевший пудель. Ей уж давно пора уйти на покой, потому что и деньги есть, и занятие ее здесь тяжелое и хлопотное, и годы ее уже почтенные. Так ведь нет: надо еще лишнюю тысячу, а там и еще и еще – всё для Берточки. А у Берточки лошади, у Берточки англичанка, Берточку каждый год возят за границу, у Берточки на сорок тысяч брильянтов – черт их знает, чьи они, эти брильянты? И ведь я не только уверен, но я твердо знаю, что для счастия этой самой Берточки, нет, даже не для счастия, а предположим, что у Берточки сделается на пальчике заусеница, – так вот, чтобы эта заусеница прошла, – вообразите на секунду возможность такого положения вещей! – Анна Марковна, не сморгнув, продаст на растление наших сестер и дочерей, заразит нас всех и наших сыновей сифилисом. Что? Вы скажете – чудовище? А я скажу, что ею движет та же великая, неразумная, слепая, эгоистическая любовь, за которую мы все называем наших матерей, святыми женщинами.

– Легче на поворотах! – заметил сквозь зубы Борис Собашников.

– Простите: я не сравнивал людей, а только обобщал первоисточник чувства. Я мог бы привести для примера и самоотверженную любовь матерей-животных. Но вижу, что затеял скучную материю. Лучше бросим.

– Нет, вы договорите, – возразил Лихонин. – Я чувствую, что у вас была цельная мысль.

[3] О, рыцарь без страха и упрека! (*франц.*)

– И очень простая. Давеча профессор спросил меня, не наблюдаю ли я здешней жизни с какими-нибудь писательскими целями. И я хотел только сказать, что я умею видеть, но именно не умею наблюдать. Вот я привел вам в пример Симеона и бандершу. Я не знаю сам, почему, но я чувствую, что в них таится какая-то ужасная, непреоборимая действительность жизни, но ни рассказывать ее, ни показать ее я не умею, – мне не дано этого. Здесь нужно великое уменье взять какую-нибудь мелочишку, ничтожный, бросовый штришок, и получится страшная правда, от которой читатель в испуге забудет закрыть рот. Люди ищут ужасного в словах, в криках, в жестах. Ну вот, например, читаю я описание какого-нибудь погрома, или избиения в тюрьме, или усмирения. Конечно, описываются городовые, эти слуги произвола, эти опричники современности, шагающие по колено в крови, или как там еще пишут в этих случаях? Конечно, возмутительно, и больно, и противно, но все это – умом, а не сердцем. Но вот я иду утром по Лебяжьей улице, вижу – собралась толпа, в середине девочка пяти лет, – оказывается, отстала от матери и заблудилась, или, быть может, мать ее бросила. А перед девочкой на корточках городовой. Расспрашивает, как ее зовут, да откуда, да как зовут папу, да как зовут маму. Вспотел, бедный, от усилия, шапка на затылке, огромное усатое лицо такое доброе, и жалкое, и беспомощное, а голос ласковый-преласковый. Наконец, что вы думаете? Так как девчонка вся переволновалась, и уже осипла от слез, и всех дичится – он, этот самый «имеющийся постовой городовой», вытягивает вперед два своих черных, заскорузлых пальца, указательный и мизинец, и начинает делать девочке козу! «Ро-о-гами забоду, ногами затопу!..» И вот, когда я глядел на эту милую сцену и подумал, что через полчаса этот самый постовой будет в участке бить ногами в лицо и в грудь человека, которого он до сих пор ни разу в жизни не видал и преступление которого для него совсем неизвестно, то – вы понимаете! мне стало невыразимо жутко и тоскливо. Не умом, а сердцем. Такая чертовская путаница эта жизнь. Выпьем, Лихонин, коньяку?

– Хотите на ты? – предложил вдруг Лихонин.

– Хорошо. Только без поцелуйчиков, правда? Будь здоров, мой милый… Или вот еще пример. Читаю я, как один французский классик описывает мысли и ощущения человека, приговоренного к смертной казни. Громко, сильно, блестяще описывает, а я читаю и… ну, никакого впечатления: ни волнения, ни возмущения – одна скука. Но вот на днях попадается мне короткая хроникерская заметка о том, как где-то во Франции казнили убийцу. Прокурор, который присутствовал при последнем туалете преступника, видит, что тот надевает башмаки на босу ногу, и – болван! – напоминает: «А чулки-то?» А тот посмотрел на него и говорит так раздумчиво: «Стоит ли?» Понимаете: эти две коротеньких реплики меня как камнем по черепу! Сразу раскрылся передо мною весь ужас и вся глупость насильственной смерти… Или вот еще о смерти. Умер один мой приятель, пехотный капитан, – пьяница, бродяга и душевнейший человек в мире. Мы его звали почему-то электрическим капитаном. Я был поблизости, и мне пришлось одевать его для последнего парада. Я взял его мундир и стал надевать к нему эполеты. Там, знаете, в ушко эполетных пуговиц продевается шнурок, а потом два конца этого шнурка просовываются сквозь две дырочки под воротником и изнутри, с подкладки, завязываются. И вот проделал я всю эту процедуру, завязываю шнурок петелькой, и, знаете, все у меня никак не выходит петля: то чересчур некрепко связана, то один конец слишком короток. Копошусь я над этой ерундой, и вдруг мне в голову приходит самая удивительная простая мысль, что гораздо проще и скорее завязать узлом – ведь все равно никто развязывать не будет. И сразу я всем своим существом почувствовал смерть. До тех пор я видел остекленевшие глаза капитана, щупал его холодный лоб и все как-то не осязал смерти, а подумал об узле – и всего меня пронизало и точно пригнуло к земле простое и печальное сознание о невозвратимой, неизбежной погибели всех наших слов, дел и ощущений, о гибели всего видимого мира… И таких маленьких, но поразительных мелочей я мог бы привести сотню… Хотя бы о том, что такое люди испытывали на войне… Но я хочу свести свою мысль к одному. Все мы проходим

мимо этих характерных мелочей равнодушно, как слепые, точно не видя, что они валяются у нас под ногами. А придет художник, и разглядит, и подберет. И вдруг так умело повернет на солнце крошечный кусочек жизни, что все мы ахнем. «Ах, боже мой! Да ведь это я сам – сам! лично видел. Только мне просто не пришло ь голову обратить на это пристального внимания». Но наши русские художники слова – самые совестливые и самые искренние во всем мире художники – почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, мне трудно ответить на это. Может быть, по брезгливости, по малодушию, из-за боязни прослыть порнографическим писателем, наконец просто из страха, что наша кумовская критика отожествит художественную работу писателя с его личной жизнью и пойдет копаться в его грязном белье. Или, может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко-близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга.

– Пишут же! – нехотя заметил Рамзес.

– Пишут, – в тон ему скучно повторил Платонов. – Но все это или ложь, или театральные эффекты для детей младшего возраста, или хитрая символика, понятная лишь для мудрецов будущего. А самой жизни никто еще не трогал. Один большой писатель – человек с хрустально чистой душой и замечательным изобразительным талантом – подошел однажды к этой теме, и вот все, что может схватить глаз внешнего, отразилось в его душе, как в чудесном зеркале. Но лгать и пугать людей он не решился. Он только поглядел на жесткие, как у собаки, волосы швейцара и подумал: «А ведь и у него, наверно, была мать». Скользнул своим умным, точным взглядом по лицам проституток и запечатлел их. Но того, чего он не знал, он не посмел написать. Замечательно, что этот же писатель, обаятельный своей честностью и правдивостью, приглядывался не однажды и к мужику. Но он почувствовал, что и язык, и склад мысли, и душа народа для него темны и непонятны… И он с удивительным тактом, скромно обошел душу народа стороной, а весь запас своих прекрасных наблюдений преломил сквозь глаза городских людей. Я нарочно об этом упомянул. У нас, видите ли, пишут о сыщиках, об адвокатах, об акцизных надзирателях, о педагогах, о прокурорах, о полиции, об офицерах, о сладострастных дамах, об инженерах, о баритонах, – и пишут, ей-богу, совсем хорошо – умно, тонко и талантливо. Но ведь все эти люди – сор, и жизнь их не жизнь, а какой-то надуманный, призрачный, ненужный бред мировой культуры. Но вот есть две странных действительности – древних, как само человечество: проститутка и мужик. И мы о них ничего не знаем, кроме каких-то сусальных, пряничных, ёрнических изображений в литературе. Я вас спрашиваю: что русская литература выжала из всего кошмара проституции? Одну Сонечку Мармеладову. Что она дала о мужике, кроме паскудных, фальшивых народнических пасторалей? Одно, всего лишь одно, но зато, правда, величайшее в мире произведение, – потрясающую трагедию, от правдивости которой захватывает дух и волосы становятся дыбом. Вы знаете, о чем я говорю…

– «Коготок увяз…» – тихо подсказал Лихонин.

– Да, – ответил репортер и с благодарностью, ласково поглядел на студента. – Ну, что касается Сонечки, то ведь это абстрактный тип, – заметил уверенно Ярченко. – Так сказать, психологическая схема…

Платонов, который до сих пор говорил точно нехотя, с развальцей, вдруг загорячился:

– Сто раз слышал это суждение, сто раз! И вовсе это неправда. Под грубой и похабной профессией, под матерными словами, под пьяным, безобразным видом – и все-таки жива Сонечка Мармеладова! Судьба русской проститутки – о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь! Здесь все совместилось: русский бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, русское терпение, русское бесстыдство. Ведь все они, которых вы берете в спальни, – поглядите, поглядите на них хорошенько, – ведь все они – дети, ведь им всем по одиннадцати лет. Судьба толкнула

их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса – совсем как дети. Эту светлую и смешную детскость я видел у самых опустившихся, самых старых девок, заезженных и искалеченных, как извозчичьи клячи. И не умирает в них никогда эта бессильная жалость, это бесполезное сочувствие к человеческому страданию… Например…

Платонов обвел всех сидящих медленным взором и, вдруг махнувши рукой, сказал усталым голосом:

– А впрочем… к черту! Я сегодня наговорился лет на десять… И все это ни к чему.

– Но, в самом деле, Сергей Иванович, отчего бы вам не попробовать все это описать самому? – спросил Ярченко. – У вас так живо сосредоточено внимание на этом вопросе.

– Пробовал! – с невеселой усмешкой ответил Платонов. – Но ничего не выходит. Начну писать и сейчас же заплутаюсь в разных «что», «который», «был». Эпитеты выходят пошлыми. Слова простывают на бумаге. Какая-то жвачка. Знаете ли, здесь однажды проездом был Терехов… Тот… известный… Я пришел к нему и стал рассказывать ему многое-многое о здешней жизни, чего я вам не говорю из боязни наскучить. Я просил его воспользоваться моим материалом. Он выслушал меня с большим вниманием, и вот что он сказал буквально: «Не обижайтесь, Платонов, если я вам скажу, что нет почти ни одного человека из встречаемых мною в жизни, который не совал бы мне тем для романов и повестей или не учил бы меня, о чем надо писать. Тот материал, что вы мне сейчас сообщили, прямо необъятен по своему смыслу и весу. Но что я с ним поделаю? Чтобы написать такую колоссальную книгу, о какой вы думаете, мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблюдений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет страшная книга». Слова его меня обескуражили и в то же время окрылили. С этих пор я верю, что не теперь, не скоро, лет через пятьдесят, но придет гениальный и именно русский писатель, который вберет в себя все тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно-жгучих образов. И все мы скажем: «Да ведь это всё мы сами видели и знали, но мы и предположить не могли, что это так ужасно!» В этого грядущего художника я верю всем сердцем. – Аминь! – сказал серьезно Лихонин. – Выпьем за него.

– А, ей-богу, – вдруг отозвалась Манька Маленькая. – Хотя бы кто-нибудь написал по правде, как живем мы здесь, б… разнесчастные…

В дверь постучали, и тотчас же вошла Женя в своем блестящем оранжевом платье.

X

Она непринужденно, с независимым видом первого персонажа в доме поздоровалась со всеми мужчинами и села около Сергея Ивановича, позади его стула. Она только что освободилась от того самого немца в форме благотворительного общества, который рано вечером остановил свой выбор на Мане Беленькой, а потом переменил ее, по рекомендации экономки, на Пашу. Но задорная и самоуверенная красота Жени, должно быть, сильно уязвила его блудливое сердце, потому что, прошлявшись часа три по каким-то пивным заведениям и ресторанам и набравшись там мужества, он опять вернулся в дом Анны Марковны, дождался, пока от Жени не ушел ее временный гость – Карл Карлович из оптического магазина, – и взял ее в комнату.

На безмолвный – глазами – вопрос Тамары Женя с от вращением поморщилась, содрогнулась спиною и утверди тельно кивнула головой.

– Ушел… Бррр!..

Платонов с чрезвычайным вниманием приглядывало! к Жене. Ее он отличал среди прочих девушек и почти уважал за крутой, неподатливый и дерзко-насмешливый характер. И теперь, изредка оборачиваясь назад, он по ее горящим прекрасным глазам, по ярко и неровно рдевшему на щеках нездоровому румянцу, по искусанным запекшимся губам чувствовал, что в девушке тяжело колышется и душит ее большая, давно назревшая злоба. И тогда же он подумал (и впоследствии часто вспоминал об этом), что никогда он не видел Женю такой блестяще-красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете муж чины, за исключением Лихонина, глядят на нее – иные откровенно, другие – украдкой и точно мельком, – с любопытством и затаенным желанием. Красота этой женщины вместе с мыслью о ее ежеминутной, совсем легкой доступности волновала их воображение.

– С тобой что-то такое творится, Женя, – сказал тихо Платонов.

Она ласково, чуть-чуть провела пальцами по его руке.

– Не обращай внимания. Так… наши бабские дела… Тебе будет неинтересно.

Но тотчас же, повернувшись к Тамаре, она страстно и быстро заговорила что-то на условном жаргоне, представляющем дикую смесь из еврейского, цыганского и румынского языков и из воровских и конокрадских словечек.

– Не звони метличка, метлик фартовы, – прервала ее Тамара и с улыбкой показала глазами на репортера.

Платонов действительно понял. Женя с негодованием рассказывала о том, что за сегодняшний вечер и ночь благодаря наплыву дешевой публики несчастную Пашу брали в комнату больше десяти раз – и всё разные мужчины. Только сейчас с ней сделался истерический припадок, закончившийся обмороком. И вот, едва приведя Пашу в чувство и отпоив ее валерьяновыми каплями на рюмке спирта, Эмма Эдуардовна опять послала ее в зал. Женя попробовала было заступиться за подругу, но экономка обругала заступницу и пригрозила ей наказанием.

– О чем это она? – в недоумении спросил Ярченко, высоко подымая брови.

– Не беспокойтесь… ничего особенного… – ответила Женя еще взволнованным голосом. – Так… наш маленький семейный вздор… Сергей Иваныч, можно мне вашего вина?

Она налила себе полстакана и выпила коньяк залпом, широко раздувая тонкие ноздри.

Платонов молча встал и пошел к двери.

– Не стоит, Сергей Иваныч. Бросьте… – остановила его Женя.

– Да нет, отчего же? – возразил репортер. – Я сделаю самую простую и невинную вещь, возьму Пашу сюда, а если придется – так и уплачу за нее. Пусть полежит здесь на диване и хоть немного отдохнет… Нюра, живо сбегай за подушкой!

Едва закрылась дверь за его широкой, неуклюжей фигурой в сером платье, как тотчас же Борис Собашников заговорил с презрительной резкостью:

– На кой черт, господа, мы затащили в свою компанию этого фрукта с улицы? Очень нужно связываться со всякой рванью. Черт его знает, кто он такой, – может быть, даже шпик? Кто может ручаться? И всегда ты так, Лихонин.

– Ну какая тебе, Боря, опасность от шпика? – добродушно возразил Лихонин.

– Это не Лихонин, а я его познакомил со всеми, – сказал Рамзес. – Я его знаю за вполне порядочного человеке и за хорошего товарища.

– Э! Чепуха! Хороший товарищ выпить на чужой счет. Разве вы сами не видите, что это самый обычный тип завсегдатая при публичном доме, и всего вероятнее, что он просто здешний кот, которому платят проценты за угощение, в которое он втравливает посетителей.

– Оставь, Боря. Глупо, – укоризненно заметил Ярченко.

Но Боря не мог оставить. У него была несчастная особенность!: опьянение не действовало ему ни на ноги, ни на язык но приводило его в мрачное, обидчивое настроение и толкало на ссоры. А Платонов давно уже раздражал его своим небрежно-искренним, уверенным и серьезным тоном, так мало подходящим к отдельному кабинету публичного дома Но еще больше сердило Собашникова то кажущееся равнодушие, с которым репортер пропускал его злые вставки в разговор.

– И потом, каким он тоном позволяет себе говорить в нашем обществе! – продолжал кипятиться Собашников. – Какой-то апломб, снисходительность, профессорский тон… Паршивый трехкопеечный писака! Бутербродник!

Женя, которая все время пристально глядела на студента, весело и злобно играя блестящими темными глазами, вдруг захлопала в ладоши.

– Вот так! Браво, студентик! Браво, браво, браво!.. Так его, хорошенько!.. В самом деле, что это за безобразие! Вот он придет сюда, – я ему все это повторю.

– Пож-жалуйста! С-сколько угодно! – по-актерски процедил Собашников, делая вокруг рта высокомерно-брезгливые складки. – Я сам повторю то же самое.

– Вот это – молодчина, за это люблю! – воскликнула радостно и зло Женя, ударив кулаком о стол. – Сразу видно сову по полету, доброго молодца по соплям!

Маня Беленькая и Тамара с удивлением посмотрели на Женю, но, заметив лукавые огоньки, прыгавшие в ее глазах, и ее нервно подрагивавшие ноздри, обе поняли и улыбнулись.

Маня Беленькая, смеясь, укоризненно покачала головой. Такое лицо всегда бывало у Жени, когда ее буйная душа чуяла, что приближается ею же самой вызванный скандал.

– Не ершись, Боренька, – сказал Лихонин. – Здесь все равны.

Пришла Нюра с подушкой и положила ее на диван.

– Это еще зачем? – прикрикнул на нее Собашников. – П'шла, сейчас же унеси вон. Здесь не ночлежка.

– Ну, оставь ее, голубчик. Что тебе? – возразила сладким голосом Женя и спрятала подушку за спину Тамары.Погоди, миленький, вот я лучше с тобой посижу.

Она обошла кругом стола, заставила Бориса сесть на стул и сама взобралась к нему на колени. Обвив его шею рукой, она прижалась губами к его рту так долго и так крепко, что у студента захватило дыхание. Совсем вплотную около своих глаз он увидел глаза женщины – странно большие, темные, блестящие, нечеткие и неподвижные. На какую-нибудь четверть секунды, на мгновение ему показалось, что в этих неживых глазах запечатлелось выражение острой, бешеной ненависти; и холод ужаса, какое-то смутное предчувствие грозной, неизбежной беды пронеслось в мозгу студента. С трудом оторвав от себя гибкие Женины руки и оттолкнув ее, он сказал, смеясь, покраснев и часто дыша:

– Вот так темперамент. Ах, ты Мессалина Пафнутьевна!.. Тебя, кажется, Женькой звать? Хорошенькая, шельма.

Вернулся Платонов с Пашей. На Пашу жалко и противно было смотреть. Лицо у нее было бледно, с синим отечным отливом, мутные полузакрытые глаза улыбались слабой, идиотской

улыбкой, открытые губы казались похожими на две растрепанные красные мокрые тряпки, и шла она какой-то робкой, неуверенной походкой, точно делая одной ногой большой шаг, а другой – маленький. Она послушно подошла к дивану и послушно улеглась головой на подушку, не переставая слабо и безумно улыбаться. Издали было видно, что ей холодно.

– Извините, господа, я разденусь, – сказал Лихонин и, сняв с себя пиджак, набросил его на плечи проститутке. – Тамара, дай ей шоколада и вина.

Борис Собашников опять картинно стал в углу, в наклонном положении, заложив нога за ногу и задрав кверху голову. Вдруг он сказал среди общего молчания самым фатовским тоном, обращаясь прямо к Платонову:

– Э… послушайте… как вас?.. Это, должно быть, и есть ваша любовница? Э? – И он концом сапога показал по направлению лежавшей Паши.

– Что-о? – спросил протяжно Платонов, сдвигая брови.

– Или вы ее любовник – это все равно… Как эта должность здесь у вас называется? Ну, вот те самые, которым женщины вышивают рубашки и с которыми делятся своим честным заработком?.. Э?..

Платонов поглядел на него тяжелым, напряженным взглядом сквозь прищуренные веки.

– Слушайте, – сказал он тихо, хриплым голосом, медленно и веско расставляя слова. – Это уже не в первый раз сегодня, что вы лезете со мной на ссору. Но, во-первых, я вижу, что, несмотря на ваш трезвый вид, вы сильно и скверно пьяны, а во-вторых, я щажу вас ради ваших товарищей. Однако предупреждаю, если вы еще вздумаете так говорить со мною, то снимите очки.

– Что за чушь? – воскликнул Борис и поднял кверху плечи и фыркнул носом. – Какие очки? Почему очки? – Но машинально, двумя вытянутыми пальцами, он поправил дужку пенсне на переносице.

– Потому что я вас ударю, и осколки могут попасть в глаз, – равнодушно сказал репортер.

Несмотря на неожиданность такого оборота ссоры, никто не рассмеялся. Только Манька Беленькая удивление ахнула и всплеснула руками. Женя с жадным нетерпением перебегала глазами от одного к другому.

– Ну, положим! Я и сам так дам сдачи, что не обрадуешься! – грубо, совсем по-мальчишески, выкрикнул Собашников. – Только не стоит рук марать обо всякого… – он хотел прибавить новое ругательство, но не решился, – со всяким… И вообще, товарищи, я здесь оставаться больше не намерен. Я слишком хорошо воспитан, чтобы панибратствовать с подобными субъектами.

Он быстро и гордо пошел к дверям.

Ему приходилось пройти почти вплотную около Платонова, который краем глаза, по-звериному, следил за каждым его движением. На один момент у студента мелькнуло было в уме желание неожиданно, сбоку, ударить Платонова и отскочить. – товарищи, наверно, разняли бы их и не допустили до драки. Но он тотчас же, почти не глядя на репортера, каким-то глубоким, бессознательным инстинктом, увидел и почувствовал эти широкие кисти рук, спокойно лежавшие на столе, эту упорно склоненную вниз голову с широким лбом и все неуклюже-ловкое, сильное тело своего врага, так небрежно сгорбившееся и распустившееся на стуле, но готовое каждую секунду к быстрому и страшному толчку. И Собашников вышел в коридор, громко захлопнув за собой дверь.

– Баба с возу, кобыле легче, – насмешливо, скороговоркой сказала вслед ему Женя. – Тамарочка, налей мне еще коньяку.

Но встал с своего места длинный студент Петровский и счел нужным вступиться за Собашникова.

– Вы как хотите, господа, это дело вашего личного взгляда, но я принципиально ухожу вместе с Борисом. Пусть он там неправ и так далее, мы можем выразить ему порицание в своей

интимной компании, но раз нашему товарищу нанесли обиду – я не могу здесь оставаться. Я ухожу.

– Ах ты, боже мой! – И Лихонин досадливо и нервно почесал себе висок. – Борис же все время вел себя в высокой степени пошло, грубо и глупо. Что это за такая корпоративная честь, подумаешь? Коллективный уход из редакций, из политических собраний, из публичных домов. Мы не офицеры, чтобы прикрывать глупость каждого товарища.

– Все равно, как хотите, но я ухожу из чувства солидарности! – сказал важно Петровский и вышел.

– Будь тебе земля пухом! – послала ему вдогонку Женя.

Но как извилисты и темны пути человеческой души! Оба они – и Собашников и Петровский – поступили в своем негодовании довольно искренно, но первый только наполовину, а второй всего лишь на четверть. У Собашникова, несмотря на его опьянение и гнев, все-таки стучалась в голову заманчивая мысль, что теперь ему удобнее и легче перед товарищами вызвать потихоньку Женю и уединиться с нею. А Петровский, совершенно с тою же целью и имея в виду ту же Женю, пошел вслед за Борисом, чтобы взять у него взаймы три рубля. В общей зале они поладили между собою, а через десять минут в полуотворенную дверь кабинета просунула свое косенькое, розовое, хитрое лицо экономка Зося.

– Женечка, – позвала она, – иди, там тебе белье принесли, посчитай. А тебя, Нюра, актер просит прийти к нему на минуточку, выпить шампанского. Он с Генриеттой и с Маней Большой.

Быстрая и нелепая ссора Платонова с Борисом долго служила предметом разговора. Репортер всегда в подобных случаях чувствовал стыд, неловкость, жалость и терзания совести. И, несмотря на то, что все оставшиеся были на его стороне, он говорил со скукой в голосе:

– Господа, ей-богу, я лучше уйду. К чему я буду расстраивать ваш кружок? Оба мы были виноваты. Я уйду. О счете не беспокойтесь, я уже все уплатил Симеону, когда ходил за Пашей.

Лихонин вдруг взъерошил волосы и решительно встал.

– Да нет, черт побери, я пойду и приволоку его сюда. Честное слово, они оба славные ребята – и Борис и Васька. Но еще молоды и на свой собственный хвост лают. Я иду за ними и ручаюсь, что Борис извинится.

Он ушел, но вернулся через пять минут.

– Упокояются, – мрачно сказал он и безнадежно махнул рукой. – Оба.

XI

В это время в кабинет вошел Симеон с подносом, на котором стояли два бокала с игристым золотым вином и лежала большая визитная карточка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.